



Б. Сарнов
**ТРУДНАЯ
ВЕСНА**

*Издательство
"Детская литература"*



Б. Сарнов

ТРУДНАЯ ВЕСНА

РАССКАЗЫ



Рисунки Н. Цейтлина

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Москва 1965

Книга «Трудная весна» состоит из двух частей. В первую часть входит рассказ «Как я учился музыке» и рассказ, давший название книге. Действующие лица этих рассказов — ребята, детство которых протекало перед самой войной и в первые военные годы. Вторую часть составляют рассказы о писателях и книгах: об Алексее Толстом и чуде чтения, о том, что такое быть поэтом, о необычной судьбе одного стихотворения, о том, как воспринимались книги Гайдара его первыми читателями, ребятами 30-х годов.

Ребята, напишите, понравилась ли вам книга. Свои отзывы шлите по адресу: Москва, А-47, ул. Горького, 43. Дом детской книги.



КАК Я УЧИЛСЯ МУЗЫКЕ

1

В детстве я часто думал: как это несправедливо устроено, что человек может быть только самим собой!

Вот я, например. Неужели я так всю жизнь и буду Борькой Сазоновым?

А как здорово было бы, если б я мог хоть немножечко побыть кем-нибудь другим! Сегодня, например, Спартаком. Завтра — Александром Невским. А потом перенестись в XIX век и стать Пушкиным, или Дубровским, или еще кем-нибудь.

Я завидовал артистам. Мне казалось, что профессию эту люди придумали нарочно, чтобы обмануть природу, устроившую так, что человек должен всю жизнь пробывать самим собой. Ведь может Черкасов быть то царевичем Алексеем, то

профессором Полежаевым, то длинным и смешным Паганелем.

Больше всего на свете я хотел бы стать артистом. Но, чтобы стать артистом, нужен талант. А у меня таланта нет, это я знаю совершенно точно.

— Талант — это труд, — не раз говорила моей маме Эмма Эммануиловна, моя учительница музыки. — Все великие артисты были великими тружениками. А ваш Боря не любит и не умеет трудиться. По правде говоря, я вообще не знаю, любит ли он что-нибудь.

— Он любит читать, — с надеждой говорила мама.

Эмма Эммануиловна презрительно усмехалась, и ее голова с пышной, как парик, седой шевелюрой и величественным горбатым носом становилась похожей на профиль какого-то великого музыканта.

— Глотать книжки, — презрительно говорила она, — это самое легкое занятие. Лежать на диване и глотать книжки до одурения — это может каждый болван.

Втайне мама, может быть, и не соглашалась с тем, что я болван, но в спор с Эммой Эммануиловной не вступала. То, что я учусь музыке, было для нее источником великой гордости.

— Ответь мне, Боря, — часто спрашивала меня Эмма Эммануиловна, — ты хочешь заниматься музыкой?

Я с тоской смотрел куда-то в сторону и отвечал:

— Мама хочет.

Это была сущая правда. Я учиться музыке не хотел. Хотела мама.

— Совершенно неважно, что ты никогда не будешь музыкантом, — говорила мне мама. — Вот я врач, но я всю жизнь жалею, что у моих родителей не было возможности учить меня музыке. Ведь это так приятно — уметь играть для себя!

Я не понимал, зачем мне для себя уметь играть упражнения и гаммы. Мысль, что на рояле можно играть что-нибудь другое, даже не приходила мне в голову.

Каждый день, вернувшись из школы и пообедав, я должен был брать ноты и идти к нашим соседям Волковым, у которых стоял рояль и целый день никого не было дома, кроме старушки Марии Никифоровны. Мама просила Марию Никифоровну следить за тем, чтобы я ежедневно играл не меньше часа.

Я подходил к роялю и не торопясь начинал устанавливать черный вертящийся стульчик. Я вывинчивал его круглое сиденье чуть не до отказа и садился, примериваясь.

Почти всегда оказывалось, что стул слишком высок. Тогда я так же неспешно начинал вертеть его в обратную сторону.

Наконец стул был отрегулирован, и я усаживался.

В черной полированной поверхности рояля отражалось мое лицо, чудовищно вытянутое, удлинненное, с оттопыренными ушами и полуоткрытым ртом.

Смотреть на это лицо было смешно и интересно.

Вдоволь насмотревшись, я ставил перед собой ноты и тупо начинал играть домажорную гамму, прислушиваясь к звонкам телефона в коридоре.

Каждую минуту с работы могла позвонить мама.

— Играет, — вполголоса говорила в трубку Мария Никифоровна. — Да как сказать... Часу не прошло, а полчаса верных.

После такого разговора я чувствовал себя спокойнее, торопливо «отрабатывал» оставшиеся мне полчаса, говорил старушке спасибо и убегал.

Так бы, наверное, все это и продолжалось, если бы я вскоре не сделал необыкновенно важное для меня открытие, сразу превратившее эти ежедневные унылые, томительные часы в счастливые, бешено мчащиеся мгновения.

Случилось это так.

Мой одноклассник Шурка Малышев дал мне почитать пухлую, растрепанную книгу. На старой газете, заменявшей ей обложку, чернильным карандашом было старательно выведено: «Дюма. Три мушкетера».

Шурка уверял, что книг лучше этой просто нет на свете.

В книге было страниц семьсот. А дал он мне ее только на один день.

Я читал ее все шесть уроков. Я сидел за своей партой, изрезанной перочинным ножом и разукрашенной лиловыми чернильными потеками. Книга лежала на коленях. Иногда кто-нибудь вслух произносил мою фамилию. Я как во сне отвечал что-то про земноводных или про равнобедренные треугольники и снова возвращался к захватывающей истории о том, как молодой задиристый гасконец отправился в дальний путь на поиски счастья. Только и было у него — горячее гасконское солнце над головой, горячая гасконская пыль на ботфортах да старая отцовская шпага. Но ни один человек во всей Франции, будь это даже сам король, не мог безнаказанно оскорбить его насмешливым словом или насмешливым взглядом.

Придя домой, я, не отрывая глаз от страниц, наскоро проглотил оставленный мамой обед и с ужасом вспомнил, что надо идти к Волковым играть проклятые гаммы.

У меня не хватило мужества не пойти. Но оставить книгу дома я не мог. Я взял ее с собой.

Устанавливая на пюпитре ноты, я с ненавистью поглядывал на старушку Марию Никифоровну — единственного соглядатая моих ежедневных мучений. И вдруг я увидел, что она не обращает на меня никакого внимания.

Я воровато поставил книгу на пюпитр и в то же мгновение перенесся в веселый город Париж, где меня ждали интриги кардинала Ришелье и коварной миледи.

«— Начнем, пожалуй, — сказал д'Артаньян, и восемь шпаг сверкнуло в воздухе».

Комната огласилась унылыми звуками домажорной гаммы. Но в моих ушах звучала другая музыка:

«— Над чем вы смеетесь, сударь? Скажите, и мы посмеемся вместе!...»

В этот день я понял, что старушка соседка ничегошеньки не смыслит в том, что я играю и как я играю. Выполняя мамин наказ, она только взглядывает время от времени на часы, что-

бы я, упаси господи, не кончил свой урок на десять минут раньше.

Это и было открытие, круто изменившее мою жизнь.

С этого дня соседка в разговорах с мамой не могла нахвалиться мною. Еще бы! Я стал отдавать музыке все свое свободное время.

Каждый день я ставил на пюпитр рояля новую книгу. Пальцы мои, привыкшие к безучастной, бессмысленной своей работе, терпеливо барабанили злополучную домажорную гамму, а я в это время на всех парусах мчался в Лондон, спасая жизнь и честь королевы Франции, скакал по прерии на диком мустанге и пил обжигающий горло ямайский ром в шумных матросских тавернах.

Я больше не завидовал Черкасову. Зачем? За одну только неделю я успел побывать д'Артаньяном и Робинзоном, Гулливером и Томом Сойером, Тилем Уленшпигелем и Саней Григорьевым, героем каверинских «Двух капитанов».

Я не преувеличиваю. Я не просто воображал себя Робинзоном. Я действительно был им.

Когда я сейчас пытаюсь вспомнить, о чем я думал и что чувствовал, вставая утром, торопливо съедая завтрак и убегая в школу, ничто не оживает в моей памяти. Но до сих пор я не забыл того чувства, с которым я, Робинзон, впервые увидел след голый человеческой ноги на песке моего острова. Сердце вдруг подпрыгнуло и упало, как бывает, когда летишь в лифте вниз с высокого этажа. Я отчетливо помню, с каким чувством я, Саня Григорьев, перечитывал старые, забытые письма. Помню, как похолодели руки и слабый ветер догадки шевельнул волосы у меня на голове: «Это о нем, о капитане Татаринове, Катькином отце». Но лучше всего я помню себя Джимом Гокинсом, юнгой Джимом из «Острова сокровищ» Стивенсона; карту старого Флинта, черную метку и попугая, который хрипло кричал: «Пиастры! Пиастры! Пиастры!» — я помню лучше, чем свои учебники и альбомы с марками, лучше, чем нашего кота Мурзика.

Я жил словно под водой.

Иногда чей-нибудь голос выводил меня из этого сонного состояния:

«Внимательней, Сазонов! Если угол равен шестидесяти градусам...»

«Боря, ты опять сегодня ел холодную котлету?»

Я глядел на спрашивавших бессмысленными глазами человека, только что вынырнувшего из воды, невнятно мычал что-нибудь в ответ и снова погружался обратно, в свое подводное царство.

2

В школе я сидел на одной парте с Лидкой Баталовой.

Лидка была особенная, совсем не похожая на остальных наших девочек. Может быть, нам это только казалось, потому что с другими девочками мы учились шесть лет — с первого класса, — а Лидка пришла к нам прямо в шестой в середине учебного года.

Я очень хорошо помню, как она первый раз пришла в наш шестой «В». Она была в лыжных брюках, длинная, пожалуй, длиннее всех наших мальчишек. И она сразу показалась нам очень красивой.

Почти все девочки в нашем классе были белобрысые. Только у Нины Ворониной и Маши Айзенберг были длинные черные косы. У Лидки волосы были не черные, но и не светлые. Я еще подумал тогда, что вот такие волосы и называют, наверное, красивым, пушистым словом «каштановые».

— Вот это да! — сказал о новой девочке Левка Островский, смуглый красавец с темным, налезавшим на глаза чубом. — Не то что наши кислятины.

И он сразу подошел к Лидке и заговорил с ней о катке, о коньках, о лыжах. Я слышал, как они чему-то смеялись вместе. Потом Лидка громко сказала:

— Нет, Лева, у меня гаги.

У меня заняло сердце оттого, что она говорит с Левкой так, как будто всю жизнь просидела с ним на одной парте, а не только что впервые его увидела.

Я не разговаривал с Лидкой. Я даже не смотрел в ее сторону, делая вид, что она меня совершенно не интересует. Но мысленно я сразу, с того самого дня, как впервые ее увидел, сделал ее своим верным товарищем, спутником и участником всех моих приключений.

Когда я был Диком Шелтоном из «Черной стрелы», она была Джоанной Седли. Переодетая в мальчишескую одежду, рискуя жизнью, она пробиралась пустынными темными залами старого замка, чтобы вместе со мной встретить моего смертельного врага. Тесно прижавшись друг к другу, мы с ней ждали убийцу, идущего по тайному ходу. Я чувствовал, как дрожит ее тонкая рука, сжимающая кинжал, слышал, как бьется ее сердце.

Она была Катей, той самой Катей, за которой я, Саня Григорьев, поехал в Энск; той самой Катей, с которой я ходил на каток, где мы долго катались, взявшись за руки, и шел снег, и нам было хорошо.

О том, что можно и в самом деле пойти с Лидкой на каток, я и не помышлял. Мысль, что Лидка может пойти со мной на каток, как она ходила с Левкой Островским, Шуркой Малышевым и с другими ребятами из нашего класса, — одна только эта мысль привела меня в такое смущение, что я потом долго старался даже не вспоминать о ней.

Однажды наш математик и классный руководитель Матвей Матвеевич, которого мы с легкой руки старшеклассников звали Синус, уже не в первый раз обнаружив, что я весь урок напролет читаю какую-то книгу, сказал, как всегда негромко, слегка растягивая слова:

— У меня к тебе просьба, Сазонов. Собери свои книжки и пересядь к Баталовой, на первую парту.

Мне сразу стало жарко. Мое лицо горело, как будто невидимые лилипуты кололи его тысячами малюсеньких иголок.

Проклятый Синус! Лучше бы он выгнал меня из класса, лучше бы что угодно написал в моем дневнике, велел вызвать родителей, только бы не сажал меня за одну парту с Лидкой!

Но делать было нечего. Потный от смущения, ни на кого не глядя, уверенный, что весь класс в этот момент смотрит только на меня, я плюхнулся на Лидкину парту.

Лидка с любопытством поглядела на книгу, которую отнял у меня Синус, и, как мне показалось, в ту же секунду забыла о моем существовании.

Так мы и сидели с тех пор с Лидкой на одной парте, не обращая друг на друга никакого внимания. Я изо всех сил старался придать себе непринужденный и независимый вид. Я не отворачивался от Лидки, когда она смотрела в мою сторону. Наоборот, я время от времени сам нарочно смотрел на нее пустым, невидящим взглядом, желая показать, что никак не выделяю ее из всех: пожалуйста, могу смотреть на Синуса, могу на Левку, на Шурку Малышева, могу на доску, могу и на тебя.

Что касается Лидки, то она, по-моему, не обращала на меня внимания вполне искренне. Я бы ничуть не удивился, если бы выяснилось, что она даже не помнит моего имени.

Но она помнила, и скоро я узнал об этом.

Это случилось в тот день, когда к нам в школу привезли рояль. Его внесли трое такелажников на широких брезентовых лямках. Казалось невероятным, что такую махину могут тащить эти три невысоких, худых, на вид не очень сильных человека.

Рояль поставили в зале, где мы каждый день строились на линейку. И сразу же из зала в коридор понеслись оглушительные звуки «собачьего вальса».

Все перемены в тот день наш класс проводил около рояля. Его обступили со всех сторон, толкаясь, протискиваясь поближе, умоляюще обращаясь к Левке Островскому, силой захватившему монополию на исполнение «собачьего вальса»:

— Лёв, теперь я, дай я, а? Лёв, ну Левка же!..

Левка, вдоволь насытившись музыкой, уступил место другому счастливцу. Не умеющие играть «собачий вальс» быстро научились, и скоро я был единственным человеком из нашего класса, еще не испробовавшим новую игрушку.

Меня рояль не интересовал. Я был сыт музыкой по горло. Я пошел в зал просто потому, что туда пошли все, и потому, что туда пошла Лидка.

Я стоял ближе к двери, поэтому я первым увидел бежавшего по длинному коридору нашего школьного завхоза Мухачева.

— Это что? Это что?—еще издали начал кричать Мухачев.

Но все были так увлечены «собачьим вальсом», что его никто не слышал.

— Это что? — кричал он, вбегая в зал и проталкиваясь к роялю. — Сейчас же отсюда! Не для вас привезено!

«Собачий вальс» оборвался. Все стали нехотя расходиться. Но тут к Мухачеву подскочила Лидка:

— Как это — не для нас? А для кого же?

Вот такое же лицо у нее было, когда она выступала от нашей школы на встрече испанских детей. Она сказала тогда замечательную речь, а потом расплакалась и убежала. Тогда я вместе со всеми ребятами смеялся и говорил, что с девочками всегда так: вечно они режут в самых неподходящих случаях. Но, когда я подумал, что Лидка и сейчас, как тогда, вдруг разревется перед Мухачевым, у меня забилося сердце, будто это не она, а я кричал завхозу в лицо.

— Как это не для нас? Мы советские дети! Тут все для нас!

— Я и не говорю, что не советские, — растерялся Мухачев. — Да ведь рояль не для того, чтобы на нем ногами играть.

Но Лидка не унималась:

— Мы не ногами. У нас есть ребята, которые занимаются настоящей музыкой... Борис, — вдруг властно сказала она, — сыграй нам что-нибудь!..

Я даже не сразу понял, что это она мне. А когда понял, было уже поздно. Ребята расступились и пропустили меня к роя-

лю. Левка Островский, видя мое замешательство, быстро показал мне кулак. Надо было выручать класс. Я сел за рояль и ударил по клавишам.

Я играл единственную вещь, которую умел играть без нот. Она называлась «Веселый крестьянин, возвращающийся с работы». Этот веселый крестьянин представлялся мне деревянным человечком, вроде Буратино, с застывшим смеющимся ртом до ушей. Мне казалось, что ему еще больше, чем мне, надоело бесконечное число раз весело возвращаться с работы.

Я играл без нот, но страничка с нотами «Веселого крестьянина» словно стояла у меня перед глазами. Я помнил ее всю, до мельчайших подробностей, с карандашными пометками, сделанными рукой Эммы Эммануиловны: «ДСП», «ПР». Это значило: «До сих пор», «Правой рукой». Я разучивал злополучного «Крестьянина» долго, сначала правой рукой, потом левой, потом двумя руками вместе. Прошло, наверное, не меньше двух лет, пока я смог сыграть его обеими руками от начала до конца. На самом верху нотной странички, после заглавия, написанного по-старинному, с твердым знаком — «Крестьянинъ», — стояло два слова: «Бодро, уверенно».

Я старался играть бодро и уверенно, не забывая при этом считать про себя: «Раз-и, два-и, три-и, четыре-и. Раз-и, два-и, три-и, четыре-и...»

Когда я кончил, все посмотрели на Мухачева.

— Д-да, это музыка настоящая, не то что... — неуверенно сказал он и ушел.

Но ребята, по-видимому, не разделяли этого мнения. Подождав, пока Мухачев уйдет, меня стали просить:

— А теперь правда сыграй что-нибудь.

— «Три танкиста» знаешь?

— Нет, лучше «Тучи над городом встали»...

Но я не умел играть ни «Три танкиста», ни «Тучи над городом встали». Я вообще не умел играть ничего, кроме гамм, упражнений и проклятого «Веселого крестьянина, возвращающегося с работы».

Общее мнение выразила Лидка:

— Эх, ты, сколько учился и ничего играть не умеешь!..

После этого позора у меня не оставалось никаких сомнений в том, что Лидка меня презирает. Еще бы! Если я и мог быть хоть чем-нибудь ей интересен, так только своим умением играть на рояле. И вот... Конечно, она должна меня презирать.

Но мысль о том, что Лидка меня презирает, не причиняла мне страданий. Я был счастлив со своими книгами. Я вполне удовлетворялся тем, что в моем воображении Лидка — она же Джоанна Седли и Катя Татарина — восхищалась мною — Диком Шелтоном и Саней Григорьевым.

Так, наверное, я и продолжал бы жить в своем подводном царстве, если бы не один совсем пустяковый случай.

3

В «Центральном», в «Паласе», в «Востоккино» — почти во всех московских кинотеатрах шел новый звуковой художественный фильм «Остров сокровищ».

Не знаю, как сейчас, но в ту пору, когда мне и моим сверстникам было одиннадцать-двенадцать лет, каждая новая кинокартина была огромным событием в нашей жизни.

Картина шла сначала в центре, потом постепенно вытеснялась другой, переходила на окраины и совсем сходила с экрана. Но, если она полюбилась нам, мы долго еще повторяли запомнившиеся нам словечки и выражения ее героев.

Ну, а когда картина забывалась совсем, оставались песни.

Песни жили долго. Сначала они были неотделимы от героев, вместе с которыми родились. Но одни герои сменялись другими, и песни начинали жить отдельной, самостоятельной жизнью. Мы пели на пионерских сборах или в лагере у костра:

Кто привык за победу бороться,
С нами вместе пускай запоем!
Кто весел, тот смеется!
Кто хочет, тот добьется!
Кто ищет, тот всегда найдет!

Мы забыли о том, что это песенка Роберта из фильма «Дети капитана Гранта». Уже давно это была наша, пионерская песня...

Об «Острове сокровищ» в нашем классе заговорили сразу, как только фильм вышел на экран.

Первым принес весть о новой картине Димочка Полоцк.

Димочка был самым дурашливым мальчишкой в нашем классе. С тихим упрямством он изводил родителей, учителей и своих соседей по парте: дольше пяти дней рядом с ним никто не сидел. Мы хорошо знали Димочкиного отца. Он был председателем родительского комитета, мы звали его Папа-Полоцк. Папа-Полоцк был невысокий, плотный человек. Они с Димочкой были очень похожи. Только у Димочки были слегка выпуклые светлые глаза, в которых постоянно светилося сумасшедшее желание во что бы то ни стало поражать окружающих какими-нибудь неожиданными поступками. А у Папы-Полоцка глаза были маленькие, усталые и грустные.

Папа-Полоцк работал администратором в «Востоккино», и не было ничего удивительного в том, что Димочка посмотрел «Остров сокровищ» раньше нас всех. Он всегда все картины смотрел первым.

К Димочкиным отзывам о картинах мы относились с некоторым недоверием. Часто, посмотрев новый фильм, который потом надолго становился нашим любимым фильмом, Димочка говорил равнодушно:

— Картина успеха иметь не будет. Не кассовая картина...

Но на этот раз даже Димочка пришел потрясенный.

На все наши расспросы он отвечал только одним словом:

— Мировая.

Он сидел на своей парте непривычно кроткий, никого не задевал, только когда наша географичка Татьяна Львовна озабоченно спросила, что-то сегодня Полоцка не слышно, он не заболел ли, Димочка скорчил пьяную рожу и заплетающимся языком произнес:

— Рому...

На другой день картину посмотрели Шурка Малышев и Левка Островский. Оба они пришли в школу совершенно ошалелые. Перед уроками Шурка повязал глаз какой-то черной тряпкой и дико носился по классу, распевая песню:

Приятель, веселей разворачивай парус!
Йо-хо-хо! Веселись, как черт!

Он явно воображал себя одноглазым пиратом Билли Бонсом.

Левка вел себя спокойнее. Он сидел неподвижно на задней парте, бессмысленно глядел в потолок и только время от времени выкрикивал тонким, дребезжащим голосом:

— Когда я служил под знаменами герцога Кумберлендского!..

Было ясно, что и в его мозгу продолжают жить потрясшие его образы.

Больше терпеть было невозможно.

Мы быстро собрали деньги. Но, пока мы галдели и спорили, кому бежать за билетами, в класс вошел Синус — начался урок.

Пришлось ждать большой перемены.

Когда прозвенел звонок на большую перемену, все столпились около нашей парты и в один голос стали доказывать, что за билетами должна бежать Лидка.

— Ты опоздаешь — тебе все равно ничего не будет: Синус тебя любит... — убеждали ее.

Лидка идти не отказывалась. Она только сказала:

— Я бы сбегала, да мне одной не хочется. Девочки, кто со мной?

И тут неожиданно у меня вырвалось:

— Я...

— Хо, лыцарь! — гримасничая, сказал Димочка Полоцк. Не знаю, может быть, если бы не эти насмешливые слова,



Лидка и не взяла бы меня себе в спутники. Но тут Лидка посмотрела на Димочку уничтожающим взглядом, схватила меня за руку и властно сказала:

— Пошли!

Сбегая по лестнице, Лидка крикнула мне:

— Мы без пальто: так быстрее!..

Я сделал вид, что это было для меня чем-то само собой разумеющимся. На самом деле я даже не представлял себе, как это в марте можно выйти на улицу без пальто.

Шел редкий мокрый снег. Он таял под ногами, превращаясь в грязно-желтую кашу. Дворники соскребали его с тротуаров.

Проходным двором мы выбежали на улицу, и только тут Лидка заметила, что все еще держит меня за руку. Она ужасно смутилась и быстро разжала ладонь.

Я сделал вид, что ничего не заметил, но мне почему-то вдруг стало легко и радостно.

Красивая легковая машина плавно развернулась и проплыла мимо меня, почти коснувшись моего лица мокрой лакированной дверцей. Лидка быстро схватила меня за руку и оттащила в сторону:

— Сумасшедший!

Близко-близко, у самого моего лица, были ее мокрые от снега брови и большие испуганные глаза.

— Ладно, побежали, а то опоздаем!— сказал я и подумал, что Лидка сейчас снова смутится и отпустит мою руку.

Но она не отпустила. Так, взявшись за руки, мы и вернулись в школу.

Затаив дыхание, с бешено колотящимися сердцами прошли мы по опустевшим, тихим коридорам и остановились у двери нашего класса.

Было ясно, что урок идет уже давно.

Я хотел сказать Лидке, что нам все равно попадет от Синуса и что уж лучше теперь дожидаться конца урока. Но она, не отпуская моей руки, постучалась и смело распахнула дверь.

— Матвей Матвееч, можно? — Лидка сказала это таким невинным голосом, как будто это был не конец урока, а начало, как будто мы с ней опоздали минуты на две, не больше.

— Сазонов? Баталова? В чем дело? Где вы были? — озадаченно спросил Синус.

Я выступил вперед и хотел что-то сказать, но Лидка не дала мне и рта раскрыть.

— Матвей Матвееч, мы были у врача: у нас болела голова, — сказала она, глядя на Синуса широко открытыми, честными глазами.

Синус помолчал и, как всегда растягивая слова, медленно сказал:

— Это было бы правдоподобно в том случае, если бы у вас и Сазонова была одна голова. Садитесь.

Класс грохнул. И, хотя смеялись и надо мной, я тоже смеялся вместе со всеми. Легкое, радостное чувство, охватившее меня на улице, не проходило. Наоборот, оно еще усили-

лось, оттого что Синус объединил своей шуткой меня и Лидку и оттого что класс смеялся над нами обоими — надо мной и над нею.

Забыв о том, что я сижу на первой парте, прямо под носом у Синуса, я показал классу билеты, зажатые в кулаке, и подмигнул.

— Купили... Достали... Принесли... — прошелестело по партам.

Я был счастлив. Впервые в жизни я чувствовал себя центром всеобщего внимания. Я казался себе героем, вожакom и любимчиком класса не хуже Левки Островского или Димочки Полоцка.

В таком же приподнятом, возбужденном состоянии я вернулся из школы домой.

Открывая мне дверь, мама сказала:

— Скорее раздевайся, мой руки. У нас гости.

Гости! Будь это всего на несколько дней или даже на один только день раньше, как обрадовало бы меня это слово! Я любил, когда к нам приходили гости. Кто бы ни приходил, все равно. Сидеть за столом, накрытым шуршащей белой скатертью, и ждать, пока на тарелку тебе положат что-нибудь вкусное, — это было куда приятнее, чем самому разогревать себе обед и потом съедать его в одиночестве. Я любил пить чай вместе с гостями, слушать их веселый смех, их бесконечные, не всегда понятные взрослые разговоры. Потом я уходил за шкаф, ложился на диван и погружался в какую-нибудь книгу. На меня никто не обращал внимания. Иногда только до меня доносился приглушенный мамин голос:

— Просто не знаю, что мне делать с этим ребенком! Он буквально глотает книги...

Гости отвечали что-нибудь вроде:

— А наш-то хоть бы книгу взял в руки! Только и знает гонять на коньках целый день...

Я ждал этой неизменной фразы. Я знал, что после нее меня сразу оставят в покое, не будут спрашивать, какие у меня от-

метки, и не заставят заниматься ненавистой музыкой, и не погонят спать, едва только большие бронзовые часы на буфете пробьют десять.

Но на этот раз известие, что у нас гости, оставило меня глубоко равнодушным. Пообедав, я ушел к себе за шкаф, забрался с ногами на диван и стал ждать, когда часы пробьют пять: мы с ребятами договорились встретиться у кино в полшестого.

Вот часы зашипели — они всегда слегка шипели перед тем, как начать бить, — и я стал считать: «Бом-м... бом-м... бом-м... бом!»

Четыре! Еще полтора часа!

— А где Боря? — Это спросил кто-то из гостей.

Вполголоса, чтобы я не услышал, мама сказала:

— Я просто опасаюсь за его психику. Читает запоем...

«Ничего она не опасается! Ей нравится, что я читаю запоем, и нравится хвастаться этим», — подумал я с внезапной злостью.

Я представил себе, как через полчаса часы пробьют один раз: «Бом-м!» А потом надо будет ждать еще целых полчаса, пока они пробьют пять.

Кино начинается в шесть.

Мне вдруг стало неважно сидеть и слушать бесконечные разговоры взрослых, похожие на уже много раз слышанные разговоры родителей с другими, а может быть, и с этими же самыми гостями.

Я встал, ни на кого не глядя прошел в коридор, снял с вешалки свое пальто и выскочил на лестницу.

Я уже был на втором этаже, когда до меня донесся мамин голос:

— Боря, ты куда?

— В кино! У нас экскурсия!

— Шарф! Не забудь надеть шарф! — крикнула мне вдогонку мама, и дверь наверху с шумом захлопнулась.

С той же непонятной злостью я вынул из кармана пальто

шарф, скомкал его и тут же, на лестнице, запихал за ба-
гарею.

На улице шел легкий, пушистый снежок. Он уже не таял, как утром, а, тихо и бесшумно кружась, ложился на мостовую, на тротуары, на шапки и воротники прохожих.

Под часами на Пушкинской неподвижно стоял человек, весь с ног до головы запорошенный снегом. На часах было десять минут пятого. Спешить было некуда. Я дошел до кино, постоял у кассы и тихо побрел в сторону школы. Мне почему-то стало до слез жалко себя. И вдруг — это было как чудо — я увидел Лидку. Она медленно шла мне навстречу. Шла тем же тротуаром, что и я, тем самым тротуаром, которым сегодня утром мы шли с ней вдвоем.

Увидев меня, Лидка засмеялась. Я тоже засмеялся.

— Ты чего так рано?

— А ты?

И мы снова засмеялись.

Я не помню, о чем мы говорили, слоняясь по тихим заснеженным московским переулкам. Помню только, что утреннее легкое и радостное чувство мгновенно вернулось ко мне, едва только я увидел Лидку.

Кажется, мы говорили о Синусе. О том, что он совсем не строгий, только притворяется строгим. И о том, что к нему удивительно подходит его прозвище — Синус.

— Такой длинный, худой, ну Синус и Синус, — сказала Лидка.

— А ты знаешь, что такое синус? — спросил я.

Нет, она не знала, что такое синус, и я не знал.

— Что-нибудь математическое, вроде гипотенузы, — предположила Лидка, — только гипотенуза — женщина, злая и скучная. А Синус добрый.

И мы снова засмеялись глупым, счастливым смехом.

Мне казалось, что прошло совсем немного времени, что минут десять, не больше, мы вот так ходим и разговариваем о пустяках. Но, когда мы подошли к кинотеатру, все ребята уже

были в сборе. Они ничуть не удивились, что мы с Лидкой пришли вдвоем, и это тоже было мне почему-то приятно.

Фойе было полно народу. С трудом протиснувшись к стене, мы стали у окна. Лидка расстегнула пальто и присела на подоконник. Здесь, при ярком электрическом свете, она показалась мне совсем новой. Я сначала даже не понял почему. А потом догадался: я привык ее видеть в лыжных брюках. А сейчас она была в платье и в туфлях. Это и делало ее новой, необычно взрослой и не похожей на себя.

Лидка сидела на подоконнике и, прищурившись, разглядывала двух девчонок, стоявших около эстрады. Это были девчонки из нашей школы, я тоже знал их. Они были старшеклассницы и не обращали на нас никакого внимания. Но Лидка разглядывала их высокомерно, каждую в отдельности, как будто она была не младше их, а старше или, по крайней мере, училась с ними в одном классе.

Я хотел посмеяться над тем, как Лидка корчит из себя десятиклассницу. Но как раз в это время строгие билетерши распахнули двери в зал, и весь народ из фойе хлынул туда.

Вот ярко-белые огни люстр стали желтыми, потом красными и совсем погасли. Сладко замерло сердце, как всегда, когда предвкушаешь что-то очень хорошее.

Медленно появились на экране знакомые слова: «Остров сокровищ».

4

Я очень хорошо помню, что сначала картина совсем не понравилась мне.

Еще бы! Ведь я привык к тому, что Джим Гокинс — это я.

Это я жил в старом трактире «Адмирал Бенбоу». Это я первый увидел страшного Билли Бонса. Это я, сидя в бочке, подслушал разговор одноногого Джона Сильвера и его друзей — разговор, из которого стало ясно, что почти весь экипаж «Испаньолы» — одна пиратская шайка.

Я был юнгой Джимом. Так было всегда, сколько бы раз я ни перечитывал «Остров сокровищ» Стивенсона. А тут, в картине, вообще не было никакого Джима Гокинса.

Все остальное было почти так же, как в книге: и старый Билли Бонс и попугай. И одноногий Сильвер был точь-в-точь таким, каким я его представлял себе. Не было только юнги Джима. Вместо него была какая-то девчонка Дженни. Она была влюблена в доктора Ливси. Она тайком от всех переоделась в мальчишеское платье и поступила юнгой на «Испаньолу». Это она сидела в бочке и подслушивала разговоры пиратов. Она, а не я.

Конечно, все это не могло понравиться мне.

Но вот Дженни осталась на корабле одна-одинешенька со старым морским волком; вот с пистолетом в зубах она лезет по вантам. Черт возьми! Эта девчонка была неплохим юнгой. Недаром ни один из пиратов, кроме пронизательного Сильвера, не догадался, что она девчонка. Да, она была отличным парнем. И, уж конечно, она была похожа на Джоанну Седли и на Катю Татаринову куда больше, чем Лидка, которая с такой легкостью променяла лыжные брюки на обыкновенное девчачье платье.

Я вспомнил, как Лидка в фойе разглядывала десятиклассниц, и вдруг поймал себя на мысли, что она уже не кажется мне особенной, не похожей на других девчонок.

Но тут же я снова забыл про Лидку. События на экране разворачивались стремительно. В бою с пиратами ранили доктора Ливси. Ничего подобного в книге не было, но теперь мне было на это наплевать. Ранили доктора Ливси, из-за которого девушка Дженни стала юнгой Джимом.

Дженни пела песню:

Я на подвиг тебя провожала,
Над страной гремела гроза.
Я тебя провожала,
Но слезы сдержала,
И были сухими глаза...

...С того дня прошло много лет. Много разных событий случилось за это время в моей жизни. Я успел полюбить музыку. Я прочел множество чудесных стихов. Но никакая музыка, никакие стихи никогда в жизни не волновали меня так, как тогда взволновала эта простая песенка.

Я не представлял себе, что доктор Ливси — это я. Я был юнгой Джимом и не мог быть никем другим. А раз юнги Джима в картине не было — значит, для меня в ней уже не оставалось места. Нет, я не был доктором Ливси. Но как я завидовал ему, что у него есть такая храбрая, такая чуждая девушка Дженни!

Картина кончилась. Мы возвращались домой.

Каждый вслух переживал то, что больше всего потрясло его воображение:

— Как она его из пистолета...

— Нет, как этот подошел к нему и р-раз!..

Лидка сказала:

— А по-моему, глупо. Уж если кино называется «Остров сокровищ», все должно быть, как в книге. Ведь правда, Боря?

Я не ответил. Я не принимал участия в этом разговоре. Со мною творилось что-то странное. Какая-то непонятная тоска сжала мне сердце.

Первый раз в своей жизни я не хотел быть ни Диком Шелтоном, ни Саней Григорьевым, ни Джимом Гокинсом. Я хотел быть самим собой, Борькой Сазоновым. И чтобы мне, Борьке Сазонову, а не какому-то там доктору Ливси пела Дженни свою песню:

Ты в жаркое дело
Спокойно и смело
Иди, не боясь ничего.
Если ранили друга,
Сумеет подруга
Врагам отомстить за него...

На другой день утром, уходя на работу, мама сказала мне:
— Что-то ты сегодня какой-то кислый. Голова не болит?

Посиди-ка денек дома. Лучше лишний час позанимаешься музыкой.

Я собрал ноты и пошел к Волковым играть домажорную гамму.

Я открыл рояль, достал ноты и поставил на пюпитр нарочно приготовленную на этот случай «Собаку Баскервильей». Шурка Малышев, который позавчера дал мне ее на два дня, уверял, что лучшей книги просто нет на свете.

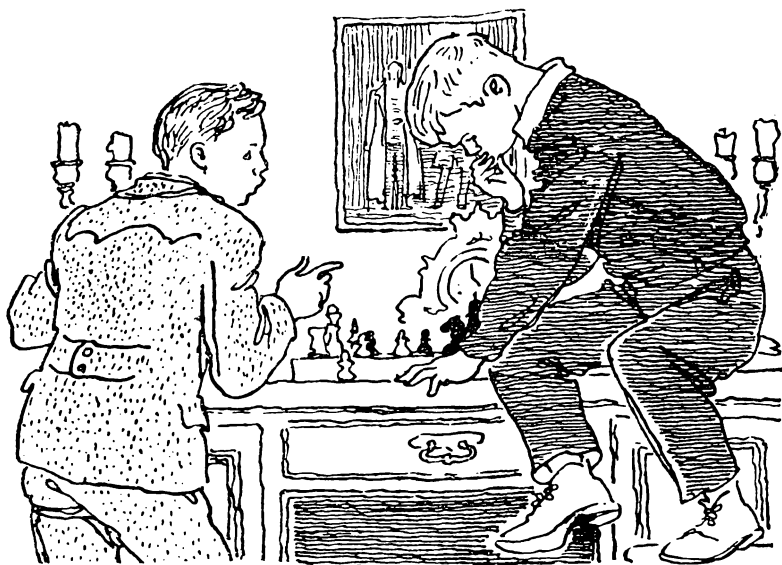
И вдруг я понял, чего мне хочется. Забыв о нотах, о «Собаке Баскервильей» и о домажорной гамме, я стал быстро-быстро одной правой рукой подбирать мелодию:

Там, где кони по трупам шагают,
Где всю землю окрасила кровь...

Я не хотел больше читать. Я хотел играть. Теперь я знал, что это значит — играть для себя.

Я беспомощно тыкал пальцами в клавиши и счастливо улыбнулся, когда из вороха беспорядочных звуков вылупилась мелодия, и в пустой комнате зазвучала простая песенка Дженни:

Я в дело любое
Готова с тобою
Идти, не боясь ничего.
Если ранили друга,
Перевяжет подруга
Горячие раны его...



ТРУДНАЯ ВЕСНА

Когда началась война и мы переехали жить в этот маленький уральский город, я сказал всем в школе, что меня зовут Феликс. Дома меня по-прежнему звали Борей. Мама не знала, что я решил стать Феликсом. Она узнала это только в конце года, когда мне нужно было получать свидетельство об окончании семилетки и пришлось доказывать, что Феликс Сазонов и Борис Сазонов — это одно и то же.

— Ну для чего тебе это понадобилось? — устало сказала она. — Большой парень, и вдруг... Такая внезапная вспышка глупости...

Наверное, это и в самом деле была глупость. Но не внезапная...

Мне никогда не нравилось мое имя. И вовсе не потому, что в школе чуть ли не с первого класса меня дразнили «Борис, председатель дохлых крыс!» или «Борис Годунов, объелся блинов!». Оно не нравилось мне совсем по другой причине.

Я хотел, чтобы меня звали как-нибудь пореволюционнее. Ну, хоть как Кимку Ершова — Ким. Ким — это сокращенно значит «Коммунистический Интернационал Молодежи». Или как Владика Стучевского — Владлен: «Владимир Ленин». У нас в школе и во дворе даже у девочек были такие имена. Вот, например, Ленка Морозова. Ее полностью зовут не Елена, а Лени́на, в честь Ленина. Энку Левитину зовут Энергия. А имя Рэмки Данилиной — Рэма — означает: «Революция — электрификация мира».

Конечно, были у нас и другие ребята, с обыкновенными именами. Но ни одно имя не казалось мне таким дореволюционным, старорежимным, как мое.

Особенно обидно стало мне после того, как я побывал в гостях у Фельки Кононенко.

Фелька учился не в нашем классе, а в параллельном, шестом «Б». Домой он меня к себе позвал играть в шахматы: я играл лучше всех в нашем классе, а Фелька был чемпионом в своем.

— Пошли прямо сейчас? — предложил он мне как-то после уроков. — А то можно к тебе. Только мне тогда надо будет домой позвонить, чтоб не ждали.

Мне никому не нужно было звонить, дома меня никто не ждал, и мы решили идти к нему.

Фелька жил в большом сером доме в Гнездниковском переулке. Этот дом знала вся Москва. Тогда в Москве еще не было высотных зданий, и этот сумрачный десятиэтажный дом считался небоскребом. Старые москвичи называли его «Дом Нирзее», по имени его давнишнего владельца. Мальчишки говорили о нем — «Дом с крышей», потому что у этого дома

была замечательная, огороженная специальной оградой и выложенная каменными плитками крыша, на которую все мы лазили играть в волейбол и смотреть на простершуюся внизу Москву.

С тех пор мне не раз приходилось бывать в этом доме. Сейчас в нем находится учреждение, в которое я часто хожу по делам. И нынешние москвичи чаще всего называют дом именем этого учреждения. Но я и теперь, когда думаю об этом старом московском доме, называю его про себя «Дом Фельки Кононенко».

С трудом открыв тяжелую, тугую дверь, мы вошли в прохладный вестибюль и в лифте поднялись на девятый этаж. Это был совсем не такой лифт, как в нашем доме. Для того чтобы подняться в нем, нужно было не нажимать кнопку, а быстро крутануть такое блестящее медное колесо с ручкой, похожее на штурвал корабля.

На девятом этаже мы долго шли по пустынному широкому коридору. Наконец Фелька остановился перед дверью, встал на цыпочки и, дотянувшись, нажал кнопку звонка. Он нажал кнопку и не отпускал ее долго-долго.

— Брось, соседи заругают, — сказал я.

— А у нас нет никаких соседей, — сказал Фелька.

И тут как раз дверь открылась. Ее открыла широколицая высокая девушка. Она и в самом деле не стала ругать нас. Только дернула Фельку за чуб и сказала:

— Вытирай ноги.

— Это Нина, моя сестра, — сказал мне Фелька.

Мы быстро вытерли ноги и вошли в большую светлую комнату с одним, во всю стену, огромным окном.

Нина сказала:

— Мальчики, вы, наверное, голодные? Будем обедать или подождем папу?

— Нет, — сказал Фелька, — мы будем играть в шахматы.

— Играйте, — сказала Нина. — Только, пожалуйста, без фука.

— С фуком это в шашки, — сказал я.

Фелька и Нина засмеялись.

— Это она нарочно, — объяснил Фелька. — Это давно, когда мы еще маленькие были, мы с ней любили в шашки играть. И всегда шумели очень, орали, ссорились: «Чур, с фуком! Чур, без фука!» Вот однажды отец нам сказал: «Больше без моего разрешения вы шашки в руки не возьмете». Мы — просить: «Пап, разреши, разреши!» А он говорит: «Ладно, играйте, только, пожалуйста, без фука». Ну вот, с тех пор у нас все так говорят дома: «Без фука». Значит, не орать, без крика то есть...

Первую партию мы сыграли вничью. Вторую я твердо решил выиграть.

Фелька сидел прямо на столе, кусал ноготь и думал. Он думал уже довольно долго. Мне стало скучно ждать, пока он сделает ход, и я стал глядеть на стены. Прямо передо мной, над столом, висела большая фотография. В огромной пустой комнате, вернее, даже не в комнате, а в каком-то зале, где много-много окон, стоят рядом два человека. Один — в шинели внакидку, в фуражке, с худым, изможденным лицом и острой бородкой. Я сразу узнал его: Дзержинский. Другой тоже в фуражке и в короткой кожаной куртке, совсем молодой, с таким же, как у Фельки, широким, курносым лицом.

— Это Дзержинский? — спросил я. — А с ним кто?

— С ним? — переспросил Фелька, не отрываясь от доски. (Через несколько ходов его ждал верный мат.) — С ним? Это папа...

— Твой? — У меня сразу пересохло в горле.

— Ну да. — Фелька наконец сделал ход. — Он с ним работал. Поэтому меня и называли Феликсом. Феликс Эдмундович умер в двадцать шестом году. Как раз когда я родился... Ходи, что же ты...

Я сделал ход и сразу зевнул ладью. Наверняка выигранная партия теперь была безнадежна. Но я уже не думал о шахматах. Я думал о другом.

Я тоже родился в двадцать шестом году. В том самом году, когда умер Феликс Дзержинский. Мне тоже могли дать это ослепительное и грозное, как само слово «революция», имя.

Но мой отец никогда не работал с Дзержинским. Он работал...

Вот так всегда! Всякий раз, когда мне приходилось отвечать на вопрос, где работает мой отец, я краснел, заикался и не знал, что ответить.

Все наши ребята хвастались отцами. С нарочитой небрежностью произносили они звучные, иногда короткие и простые, а чаще длинные и малопонятные слова:

«Мой батя работает на «Шарикоподшипнике».

«А мой отец в Цэсэу...»

«А мой в Главпуре РККА!»

Не каждый из нас знал, что Главпур РККА — это значит «Главное политическое управление Рабоче-Крестьянской Красной Армии». Да и те, кто знал, наверное, не очень ясно представляли себе, что это такое «Главное политическое управление». Но все мы понимали, что люди, работающие в учреждении с таким названием, делают что-то очень важное. Не просто важное, а важное для революции.

Тогда все измерялось этой мерой. Если человеку хотели сказать, что его поступок не имеет решительно никакого значения, ему говорили: «Революция от этого не пострадает».

А разве пострадала бы революция, если бы ушел с работы мой папа?

Он был преподавателем консерватории. Это слово — «консерватория» — казалось мне таким же противным и старорежимным, как мое имя.

У нас дома на стене тоже висели фотографии. Но это были совсем другие фотографии, не похожие на ту, что я видел у Фельки. На одной из них отец был снят в очень твердом, подпирающем шею крахмальном воротничке и в галстук бабочкой. На другой — в высокой фуражке с кокардой и с блестя-

щим козырьком. В таких фуражках до революции ходили студенты консерватории.

Я стыдился профессии отца. Мне казалось унижительным и глупым, что большой, взрослый мужчина, вместо того чтобы быть военным, моряком или летчиком, занимается таким не настоящим, не мужским делом. Вот почему, когда ребята спрашивали меня про отца, я не знал, что ответить. Мне казалось, что, если сказать им правду, они подумают, что папа вроде нашего учителя пения Клавдия Ивановича, которого мы изводили злорадной дразнилкой:

До ре ми фа соль ля си,
Клавдий Иванович, не форси!
Если будешь ты форсить,
Мы не станем голосить!..

Хотя на самом деле отец ничуть не был похож на худенького, красноносого Клавдия Ивановича.

2

В тот вечер я долго смотрел на отца. Смотрел, как бегают по нотным линейкам его остро отточенный карандаш.

Вот он задумался на секунду, быстро-быстро нарисовал четыре точки, приделал к ним хвостики и соединил их общей черточкой. Потом посидел, подумал, взял ластик и стер. Опять быстро-быстро забегал его карандаш.

— Пап... Ведь ты был на фронте?

— М-м?

— Ты ведь был на фронте, пап? У тебя, наверное, есть где-нибудь старые фронтовые фотографии?

— Фотографии? Должны быть. Посмотри в столе.

Я залез в ящик отцовского письменного стола и достал толстую пачку бумаг, пожелтевших, стершихся на сгибе.

«Императорское Русское Музыкальное Общество,— прочел я на одной. — Дано сие мещанину...»

— Пап, ты разве мещанин?

Отец, поглощенный своим дурацким занятием, не отозвался.

Я стал рыться в столе дальше и наконец наткнулся на фотографии. Они были совсем не интересные, не фронтовые. На табуретке сидит здоровенный толстомордый парень в начищенных до блеска сапогах. Рядом с ним стоит такая же здоровая, наверное, очень краснощекая, девушка. На обороте очень крупными каракулями написано: «На память Николаю Петровичу от Афанасия и Веры».

— Пап, это кто? Это же не на фронте, а ты говорил, что здесь фронтовые...

Отец оторвался от нотного листка, взглянул на фотографию и улыбнулся:

— Это мой денщик со своей невестой.

— Денщик? — Я был поражен. — У тебя был денщик?

Но отец уже снова чертил карандашом свои закорючки.

Я бы, конечно, так скоро не оставил его в покое, но тут мне на глаза попала еще одна фотография. Да, уж тут не могло быть никаких сомнений — это была настоящая, фронтовая! У сломанного дощатого забора стоят трое военных. Один из них — отец. Все они в фуражках, в длинных, до пят, шинелях. На фуражках — круглые маленькие кокарды, на плечах — погоны.

С ужасом, не веря, что это может оказаться правдой, я спросил:

— Па, ты был белый?

— Что?! — Отец поднял голову от нотного листка. — Что за чушь ты городишь?

— А почему тогда погоны?

— Ну ей-богу! Ты ведь не маленький. Должен знать. Это было еще в империалистическую. Я служил в старой армии. Тогда все носили погоны...

— Но ты был офицер? У тебя был денщик, значит, ты был офицер!

— У меня была музыкантская команда, я был капельмейстером. Если тебе так нравится, можешь считать, что я был офицером...

Нет, мне это совсем не нравилось! Только этого мне не хватало — чтобы мой отец оказался золотопогонником, офицером царской армии! «Что за черт! — думал я чуть не со слезами. — У всех отцы как отцы, а тут...»

— Пап, а потом, когда революция... Ты тоже был капельмейстером?

Отец рассердился:

— Ну сколько можно, Боря? Взял фотографии, играй, пожалуйста, только, ради бога, не гуди над ухом!

«Играйте, только, пожалуйста, без фука!» — почему-то вспомнилось мне. У меня вдруг защемило сердце. Бывают же такие счастливые люди, у которых фотографии вождей висят, как у других фотографии родственников и знакомых, у которых отцы, приходя домой, снимают скрипящие, пахнущие кожей ремни и играют с сыновьями в шахматы, и разговаривают с ними, как со взрослыми, и говорят свои, особенные, не похожие на другие слова: «Играйте, только, пожалуйста, без фука...»

3

«Скорей бы вырасти! — думал я. — Уж я не буду таким чудачком, как отец. Во-первых, я обязательно отпущу усы».

Мы с ребятами часто говорили о том, какие усы мы будем носить, когда вырастем: короткие, как у Папанина, или пышные, с закрученными, торчащими вверх концами, как у Чапаева. О том, чтобы обходиться вовсе без усов, не могло быть и речи. Это было бы просто глупо.

Отец усов не носил. Это тоже казалось мне непонятным, ничем не объяснимым чудачеством.

Однажды, глядя, как отец бреется перед зеркалом, я попросил:

— Пап, не сбривай усы. Пусть будут...

— Да? И какого цвета будут эти усы? — невозмутимо отозвался он.

— Черные, — сказал я, не соображая, куда он клонит.

— Черные — это бы еще куда ни шло... У меня они были рыжие...

Я понимал, конечно, что отец шутит. Но даже шуточный этот ответ показывал, что в глубине души он и сам знает, насколько лучше было бы ему с усами.

Да, усы для человека — не последнее дело. Но, если говорить серьезно, не только возможность отпустить усы заставляла меня хотеть как можно скорее стать взрослым.

Как и все наши ребята, я очень боялся, что не успею вырасти до начала войны.

Я всегда завидовал тем, кто родился раньше меня, кому повезло захватить хоть краешком детства гражданскую войну. Я изводил расспросами всех взрослых, я добивался от них ясного и прямого ответа: обязательно будет война или может случиться, что я проживу всю свою жизнь, а войны так и не будет. Это было бы просто несправедливо. Хватит с нас того, что мы по малолетству не были в Испании. Я не сомневался, что, будь я и все наши ребята чуть постарше, генералу Франко вряд ли удалось бы задуть Испанскую республику.

О том, что война началась, мы с мамой узнали не сразу.

В то лето мы с ней жили в маленькой деревушке на берегу Волги, в пяти часах езды от Москвы. Мама работала врачом в доме отдыха имени Коминтерна, находящемся поблизости, а я целыми днями торчал на реке, купался до судорог, жарился на солнце.

Каждое воскресенье из Москвы приезжал отец. Он привозил мне то пластинки для «Фотокора», то камеру для волейбольного мяча, и всегда — напоминание о том, что где-то совсем неподалеку продолжается обычная московская жизнь, со звонками трамваев и гудками автомобилей, с пыльными московскими дворами, где ребята играют в лапту, с радужными лужицами бензина в мягком, плавящемся от зноя асфальте.

На мои расспросы о Москве отец неизменно отвечал, что в Москве плохо: пыльно и душно. Потом он ложился на раскладушку и через несколько минут засыпал, накрыв голову газетой.

Я ждал, что так будет и в это воскресенье.

День начался, как обычно. Время тянулось медленно-медленно. Казалось, утро никогда не кончится. Я успел уже четыре раза сбегать на Волгу искупаться и то и дело забегал в дом глянуть на ходики, не пора ли идти встречать отца. Наконец маленькая стрелка подошла к двенадцати. Из «Коминтерна» пришла мама, и мы пошли с ней на станцию.

Я первый увидел отца и сразу понял, что в Москве что-то случилось. У него было точь-в-точь такое лицо, как в тот день, когда умер дядя Костя. У дяди Кости было больное сердце. Он купался в ванной, и с ним там случился приступ. Когда папа узнал, что дядя Костя внезапно умер, он ходил по комнате вот с таким же растерянным лицом и говорил: «Как глупо... Тьфу ты, черт! Как глупо...»

Увидев меня и маму, отец соскочил на платформу, не дожидаясь, пока поезд замедлит ход.

Я был уверен, что папа подойдет ко мне: я стоял ближе. Но он, даже не глядя на меня, подошел к маме, взял ее за руку и, растерянно улыбнувшись, сказал:

— Я ничего не знал утром. Собрался и выехал. Только в поезде мне сказали...

— Что — не знал? — испуганно спросила мама. — Коля, что случилось?!

Он посмотрел на маму так, словно был в чем-то виноват перед ней, и сказал:

— Война...

Услышав это слово, я мгновенно забыл обо всем, что волновало меня секунду назад. Вот оно! Наконец-то!

Я не понимал, почему плачет мама, почему не радуется отец.

Я радовался. И вместе с тем — странное дело! — с той минуты, как я узнал про войну, где-то внутри меня, должно быть

в самом сердце, поселилось какое-то непонятное тошнотворно-тоскливое чувство тревоги.

Радость моя была искренней и неподдельной. Случилось наконец самое главное, то, к чему мы все время готовились, чего так долго ждали!

Я вспомнил, как перед отъездом поспорил с Владькой Стучевским на три новенькие кассеты для «Фотокора», начнется в этом году война или нет. Владька говорил, что обязательно начнется. Я и сам так думал, но поспорил наоборот. Я всегда, если очень хотел чего-нибудь, спорил наоборот: не сбудется по-моему, так хоть спор выиграю, все-таки утешение.

«Здорово! — думал я. — Кассеты проспорил, и черт с ними! Зато война!»

А противная тошнота в сердце почему-то все не проходила.

4

В тот день, когда началась война, вся жизнь словно переломилась пополам. Теперь дни катились друг за другом, как в кино, и каждый день приносил что-нибудь новое, и эта новая, стремительно меняющаяся жизнь была совсем не похожа на ту, прежнюю, медленную жизнь, с песчаными волжскими плесами, пластинками для «Фотокора», волейболом и лаптой. Все это осталось где-то далеко-далеко, как будто это было не вчера, а много лет назад.

Отец в тот же день уехал обратно в Москву, а мы с мамой остались. Я теперь целые дни проводил в опустевшем доме отдыха. Радиоузел почему-то не работал, и там ходили самые невероятные слухи. Одни говорили, что наши взяли Кенигсберг и Варшаву, другие утверждали, что мы вот-вот подойдем к Берлину.

Я жил в те дни только этими слухами.

Я не сомневался в правдивости каждого из них. Меня только удивляло, что никто не говорит о самом главном: ведь в Германии, наверное, уже произошла революция. А если это

так, почему тогда Красная Армия продолжает наступать на Берлин?

То, что в Германии революция уже произошла или произойдет со дня на день, не вызывало у меня никаких сомнений.

Раньше, когда война еще не началась, мы с ребятами у нас во дворе часто говорили о том, как все будет, когда она начнется.

В одном из этих разговоров Женька Иваницкий, самый умный и начитанный из нас, как дважды два доказал нам, что как только какая-нибудь капиталистическая страна посмеет напасть на СССР, в ней сразу вспыхнет революция, потому что народ этой страны не допустит, чтобы его правительство воевало с международным отечеством трудящихся. И тогда безусловно произойдет мировая революция.

Я был уверен, что именно так все и будет. Эта моя уверенность не поколебалась даже тогда, когда мы с мамой вернулись в Москву и узнали, что немцы захватили Литву, Латвию, Эстонию и почти всю Западную Украину и Западную Белоруссию.

— До старой границы решено допустить, не иначе. Такой план. А там остановим! — сказал наш сосед дядя Федя.

— Не похоже... — задумчиво ответил отец. — На план что-то не похоже...

Они сидели над моей школьной «Политической картой СССР».

Дядя Федя сказал:

— Не для того рабочий класс брал в свои руки власть!..

— Ах, оставьте, пожалуйста! При чем здесь рабочий класс! — раздраженно заговорил другой наш сосед, Осип Маркович.

Про него отец, смеясь, рассказывал нам, что во время первой учебной тревоги (мы с мамой тогда еще были на Волге) он вбежал к нам в комнату в одном белье и сдавленным шепотом, точно боясь, что его могут подслушать, сказал: «Началось!»

— При чем здесь рабочий класс? — разозлился Осип Маркович. — Вы знаете, сколько у них дивизий, какая техника?

Дядя Федя посмотрел на Осипа Марковича и жестко сказал:

— При том рабочий класс, что техника без людей мертва...

Осип Маркович зло усмехнулся и едва заметным движением головы показал отцу на дядю Федю, словно приглашая его вместе с ним посмеяться над упрямой дяди Фединой глупостью.

Как я ненавидел его в эту минуту! И как обидно мне было, что он считает отца своим единомышленником! Пусть дядя Федя не знает, сколько у немцев дивизий, но ведь он сказал правду! Немецкие рабочие не станут стрелять в наших! Они обязательно сделают у себя революцию. Не сразу, так через месяц.

Я ждал, что вот отец встанет и скажет все это Осипу Марковичу и тогда последнее слово останется за дядей Федей, за нами. Но отец остался сидеть на месте, как будто ничего не случилось. Он только еще раз посмотрел задумчиво на карту и, словно отвечая каким-то своим мыслям, невпопад пробормотал непонятные, но почему-то запомнившиеся мне слова:

— Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а ходить по ним...

5

Отец записался в ополчение и через три дня уехал. Когда он перед самым отъездом забежал домой проститься с нами, лицо у него было уже не растерянное и не грустное, но и не веселое.

Я был рад, что отец уезжает на фронт. И все-таки это было не вполне то, чего бы мне хотелось.

Во-первых, отец был не кадровым, а ополченцем. Это, конечно, был минус. Правда, с другой стороны, это значило, что он ушел на фронт добровольно. Но все-таки лучше было бы, если б он был не ополченцем, а кадровым командиром. Тогда

у него было бы самое меньшее три кубика в петличке, а может быть, даже и шпала.

Ну, а кроме того, по моим понятиям, отец, уезжая на фронт, должен был поговорить со мной как мужчина с женщиной. Он должен был сказать мне, чтобы я заботился о маме и бабушке. Так всегда говорят сыновьям, уходя на войну, я знаю.

Я представил себе, как отец Фельки Кононенко прощался со своим сыном. Фелькиного отца я ни разу в жизни не видел, только вот тогда, на фотографии. Но я представил себе его отъезд так, как будто все это происходило на моих глазах.

Вот он сидит дома за столом, пьет чай, шутит, смеется. Он совсем молодой, почти такой же, как на фотографии, только на висках у него виднеется седина и у глаз собираются веселые морщинки. Вот он взглядывает на часы, и лицо его мгновенно становится серьезным.

«Девятнадцать ноль-ноль. Мне пора»,—говорит он и встает.

Фелька и Нина встают тоже. Они не спорят, не просят его подождать еще хоть минуточку. Они знают, что нет ничего на свете точнее и непреложнее военного приказа.

«Ну, сын, — говорит отец Фельке и кладет руку ему на плечо, — теперь ты главный мужчина в доме. Помни об этом».

Он не целует Фельку. Мужчины обходятся без поцелуев. Как равному, он жмет ему на прощанье руку...

Мой отец ничего этого не сделал. Он долго о чем-то вполголоса разговаривал с мамой. Потом они несколько раз быстро-быстро поцеловались. Потом он нагнулся, поцеловал меня в глаз, сказал:

— Ну, будь умницей.

Как будто мне пять лет, а не четырнадцать! И ушел.

Да, с отцом мне не повезло.

Зато с мамой все вышло отлично.

Маму вызвали в военкомат и аттестовали. Ей присвоили звание: «Военврач второго ранга» (это две шпалы, как у майора). И дали срочное назначение в Житомирский эвакогоспиталь.

Когда мама сказала, что ей разрешили взять с собой семью, радости моей не было границ. Еще бы! Значит, я поеду с ней в Житомир! Житомир — это где-то на Украине. Это почти самый фронт. Я сам слышал по радио сводку, в которой говорилось: «Идут бои на Житомирском направлении».

Бабушка ехать отказывалась. Она говорила маме, что не дело это — все бросить и ехать бог знает куда, что она хочет умереть в своем родном доме и еще что-то в этом же роде.

Я не стал слушать всю эту ерунду. Я побежал к ребятам. Меня распирало. Я должен был с кем-то поделиться неожиданно свалившимся на меня счастьем.

Во дворе было пустынно. Только у самой подворотни со скучающим видом прогуливался Женька Иваницкий. Женька — это был именно тот человек, уважение которого мне хотелось бы завоевать в первую очередь. Я подошел к нему и сказал:

— Уезжаем...

Женька равнодушно спросил:

— Эвакуируетесь?

Небрежно, как будто в этом не было ничего особенного, я сказал:

— Мать мобилизовали. На фронт едет. А я с ней. — И, не удержавшись, добавил: — Ей майора дали...

— Ну да, — сказал Женька, — маме дали майора, папе полковника, а тебе маршальскую звезду.

— Дурак! — обиделся я. — Получено специальное разрешение! Военный комиссар так матери и сказал: «Если не на кого оставить, берите семью с собой». Едем в Житомир. В четыреста тридцать первый госпиталь. Слыхал по радио? Бои на Житомирском направлении...

— Ну, госпиталь... Это в тылу где-нибудь.

— В современной войне тыл в любую минуту может оказаться фронтом, — повторил я фразу, слышанную от Осипа Марковича.

Женька посмотрел на меня, кажется, с уважением.

— Слушай, — сказал он вдруг. — Я давно хотел тебе предложить. Тебе и вообще всем ребятам. Женщины тут тащат продукты. По десять раз. Туда и обратно с кошелками, туда и обратно... Панику сеют... Затруднения создают всякие с продуктами... Надо нам у подворотни пикет поставить.

— Какой пикет? — спросил я.

Я смутно помнил, что пикет — это что-то связанное с забастовками.

— «Какой пикет»! — разозлился Женька. — Не понимаешь какой? Стать здесь и не пускать всех, кто второй раз с кошелкой. По три человека. Каждые четыре часа сменяться.

Идея показалась мне великолепной.

Через пять минут я, Женька и Ленка Морозова, та самая, которую звали Лени́на, а не Елена, стояли пикетом около подворотни.

Первая нарушительница, которую мы задержали, была моя бабушка.

Строго говоря, бабушка не была нарушительницей. Уговор был задерживать только тех, кто будет замечен дважды, а она возвращалась из магазина первый раз. Ребята даже и не думали ее останавливать. Но я сказал:

— Там что у тебя в кошелке? Сахар? А ну, неси обратно! Дома две пачки рафинада в буфете лежат, я сам видел!

Бабушка оторопело спросила:

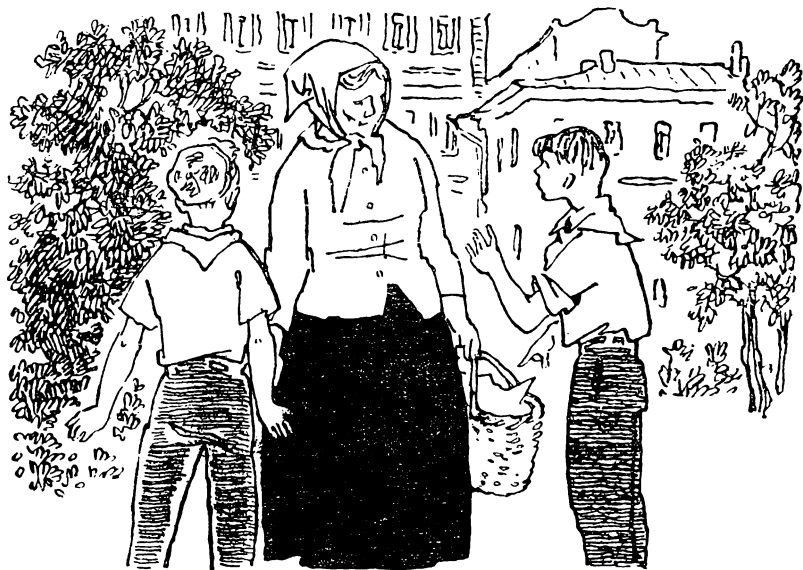
— Куда ж мне теперь с ним?

— А вы попросите поменять на что-нибудь другое, вам обменяют, — посоветовала Лена.

Бабушка, ни слова не говоря, ушла и минут через десять вернулась. Проходя мимо нас, она суетливо раскрыла кошелку и показала нам: вместо сахара там теперь был пакет с какой-то крупой и бутылка подсолнечного масла.

Второй нарушительницей оказалась дяди Фе́дина жена — тетя Груша. Во дворе ее все звали Тимофеевна.

Тимофеевна, ничего не подозревая, шла своей быстренькой, семенящей походкой. Подойдя к нам, она даже огрызнулась:



— Ну, чего проход загородили? Ай вам другого места не нашлось?

Женька вышел вперед и сказал:

— Назад, гражданка! Вы второй раз с кошелкой.

Тимофеевна от неожиданности сначала даже не стала возражать. Она остановилась и сказала жалобно:

— Ах ты господи... Что ж теперь делать?

Но потом ей, видимо, наш пикет показался не очень авторитетным.

— Ишь чего выдумали! К себе домой не пускают! А ну... Но мы были непреклонны.

Тогда Тимофеевна переменила тактику.

— Борюшка, — сказала она мне, — в другой-то раз я не пойду... А сейчас уж пусти ты меня, ради Христа...

— Как вам не стыдно! — сказал я. — У вас муж член партии, а вы сеете панику... Создаете затруднения.

Вот тут уж Тимофеевна взъядрилась по-настоящему.

— Да пропадите вы все пропадом! — закричала она визгливым, плачущим голосом, выхватила из кошелки какой-то пакет и бросила его нам под ноги. Пакет разорвался, и из него посыпались макароны.

Я был уверен, что, если она не постыдится рассказать обо всем дяде Феде, он, конечно, будет на нашей стороне. Но вышло иначе.

Вечером дядя Федя зашел к моей маме и сказал ей, что у Тимофеевны тридцать пять лет трудового стажа и что я еще молод, чтобы срамить ее на весь двор.

— Кто им позволил создавать эти, понимаете, заградительные отряды? Кто им дал указание, я вас спрашиваю? Ах, никто не давал? А вы знаете, как это называется?

Мама засмеялась, и тогда дядя Федя разозлился еще больше:

— Вы не смейтесь, пожалуйста! Авангардизм чистой воды. Я вам как член партии это говорю!

Тут мама перестала смеяться и сказала:

— Не знаю, Федор Игнатьевич, я человек беспартийный, может, я и неправа. Только мне кажется, что никакого авангардизма тут нет. Если вы считаете, что ребята ошиблись, поговорите сами с Борей. Поговорите с ним как член партии с пионером. Я думаю, вас он скорее послушается.

Дядя Федя сказал, что он этого так не оставит, но разговаривать со мной не стал. Наверное, понял свою ошибку. А может быть, просто не успел, потому что через два дня я, мама и бабушка уехали из Москвы.

6

Я был так поглощен делами нашего пикета и тем, что мама будет теперь носить командирскую форму и две шпалы в петличке, что даже не очень расстроился, когда узнал, что Житомирский госпиталь находится не в Житомире, а в маленьком городке на Северном Урале. Его туда эвакуировали.

Поэтому он и называется эвакогоспиталем. А может быть, потому, что туда, на Северный Урал, в глубокий тыл, будут эвакуировать тяжело раненных бойцов.

Всю дорогу бабушка изводила меня разговорами о сахаре.

— Это разве теперь дети? — начинала она всякий раз, когда удавалось достать кипяток. — У людей всё как у людей! Кто внакладку, кто вприкуску... Одни мы вприглядку пьем! Две пачки у него дома рафинаду... Надолго их хватило, этих двух пачек? Вот и пей теперь пустой кипяток...

Если не считать этих приставаний, в дороге мне все очень нравилось. Нравилось, что мы едем не в обыкновенном поезде, а в товарных вагонах, которые взрослые почему-то называли «теплушки». Нравилось, что останавливаемся не на станциях, а просто где-нибудь в поле и стоим часа три, а то и больше. За три часа можно много успеть. Если б не мама и бабушка, конечно.

На каждой остановке у нас происходил примерно такой разговор:

— Боря, ты куда?

— Там костер, картошку пекут...

— Нечего тебе туда ходить! Еще отстанешь от эшелона, где мы тебя тогда найдем?

Это я-то отстану!.. Лучше бы о себе побеспокоились. Я в крайнем случае могу и на ходу в последний вагон вскочить.

Но больше всего мне нравилось, что мы едем и едем вот уже шесть дней, а конца нашему путешествию не видно.

И все-таки, когда мы наконец приехали, я обрадовался.

Этот город был совсем не похож на те города, в которых мне приходилось бывать раньше. Даже имя у него было чудное, не похожее на обыкновенное. Он назывался «Надеждинский Завод». Как будто весь город состоял только из завода. Вообще-то говоря, так оно и было на самом деле...

Но в первый день меня поразило и бросилось мне в глаза совсем другое.

Мы приехали вечером. Мама оставила меня и бабушку на

вокзале с вещами, а сама куда-то ушла и долго не возвращалась. Потом она вернулась, держа в руках какую-то бумажку.

К нам подошел веселый старик в ватнике и в брезентовых рукавицах.

— Ну как, поехали? — спросил он, как будто уже давно сговорился с нами и только ждал, когда мы наконец будем готовы.

— Поехали, — сказала мама, близоруко вглядываясь в бумажку. — Улица Сакко и Ванцетти, четырнадцать...

Старик беспомощно заморгал.

— Это, надо быть, третья линия будет, — загадочно сказал он, покидал наши вещи в телегу, и мы тронулись.

Третья линия оказалась улицей Карла Либкнехта и Розы Люксембург.

Когда выяснилось, что мы приехали не туда, старик ничуть не растерялся. Скорее, даже, наоборот, обрадовался.

— Стало, наша будет аккурат седьмая, — радостно уверял он.

Проездив еще немного по городу, мы наконец добрались до улицы Сакко и Ванцетти и разыскали предназначавшуюся нам комнату.

Мама и бабушка стали устраиваться, разбирать вещи. Меня на время оставили в покое.

Я вышел на улицу и огляделся.

Это была очень ровная и довольно широкая улица с одинаковыми двухэтажными деревянными домами.

Внезапно темный край неба осветился яркой вспышкой. Пламя задрожало и погасло, оставив медленно угасающую, неровную огненную черту.

— Ой, что это?! — крикнул я.

— Шлак вылили, — спокойно сказал за моей спиной чей-то голос.

— А-а-а, — протянул я понимающе, как будто знал, что такое шлак и для чего его выливали.

Огненная река вспыхнула в последний раз, стала темно-

багровой и погасла, на этот раз уже совсем. Сразу потемнело, хотя в окнах домов по-прежнему горел свет.

Здесь не было затемнения, и в окнах горел свет, и оконные стекла не были заклеены крест-накрест полосками газетной бумаги.

Я оглянулся.

Рядом со мной стоял щупленький, низкорослый мальчишка.

— Ты в каком классе? — спросил я просто так, чтобы что-нибудь сказать.

— В седьмой пойду, — сказал он.

Я удивился. Значит, мы с ним в одном классе. А на вид можно было подумать, что он в пятом, от силы в шестом.

— Ты в девятой школе будешь учиться? — спросил он.

Я сказал, что не знаю. Тогда он предложил:

— Айда завтра в девятую записываться...

— Айда! — сказал я. — А далеко?

— Не-е, близко... Сразу за Белой Речкой. Километра четыре, не боле. Зато там все наши ребята будут. Раньше я во вторую ходил — туда теперь раненых положили, в госпитале мест не хватает. А в двадцать пятой ремонт.

Он говорил «положили» и «ремонт». Я даже не сразу понял, что это за штука такая — «ремонт»...

7

Утром мама мне сказала:

— Боря, ты, наверное, забыл? Сегодня первое сентября. Я узнавала, тут недалеко от нас школа номер шестнадцать. Очень хорошая школа, лучшая в городе. Я по пути зайду и запишу тебя...

— Ничего я не забыл! — буркнул я. — И не надо меня записывать. Я уже договорился, я в девятой школе буду учиться. Там все наши ребята...

— Какие ребята? — удивилась мама. — Ты же все равно

никого не знаешь... И это, наверное, где-нибудь у черта на куличках...

— Нет, мама, я уже знаю, я вчера познакомился. Это совсем близко, прямо за Белой Речкой...

— Ну, в девятой так в девятой, — сказала мама. — Вот твоя метрика и справка о переходе в седьмой класс. Только смотри, обязательно сделай это сегодня, слышишь, Боря?

— Слышу, — сказал я, — обязательно сделаю.

Вчерашний мальчишка уже слонялся по улице, ожидая меня. Утром, при свете, оказалось, что он рыжий. У него были рыжие волосы, белые брови и короткие белые ресницы. Звали его Петька, Петька Ивичев.

Всю дорогу он рассказывал мне про белореченских ребят, которые издавна враждуют с городскими и, возможно, даже сегодня устроят нам засаду. Я уже стал было раскаиваться, что так легкомысленно согласился идти записываться в эту чертову девятую школу. К тому же я и не подозревал, что четыре километра — это так далеко.

Во дворе школы толпилось человек пятнадцать ребят. Увидев нас, один из них закричал:

— Петух! Рыжий Петух пришел!

Это безусловно относилось к Петьке. Петька сразу же растворился в толпе, и я остался один.

— Коля! — закричал в это время тот же мальчишка. — Ура, ребята! Чапай идет!

В калитку вразвалочку входил невысокий, плотный паренек с черным чубом, налезавшим на глаза. Без сомнения, это и был Чапай. Появление его было встречено громкими, радостными выкриками.

На меня никто не обращал внимания.

В другом конце двора, у забора, толпились девочки. Там тоже радостным визгом встречали знакомых, смеялись, тормошили друг друга. А чуть поодаль, почти у самых школьных дверей, независимо стояли трое ребят, по-видимому знакомых друг с другом, но, так же как я, не знающих здесь никого.

Особенно бросился мне в глаза один из них. Это был здоровенный парень, неуклюжий и сутулый. Маленькими хитроватыми глазками он снисходительно наблюдал всю эту сутолоку мальчишечьих и девчоночьих встреч, словно большой, добродушный пес, лениво следящий за возней расшалившихся щенков.

Я подошел к этим троим и молча стал рядом с ними.

Скоро дверь школы отворилась, и все, толкаясь, повалили внутрь.

В маленьком, тесном классе за столом сидела полная женщина в очках.

— Марья Алексеевна, завуч... — шепнул мне опять оказавшийся около меня Петька.

Марья Алексеевна встала и вышла из-за стола.

— Тихо, тихо, не толпитесь, — заговорила она. — Здравствуйте... Здравствуй, Ивичев, здравствуй... Стань-ка в сторонку, милый, ты не прозрачный... Я хочу на новеньких поглядеть...

Ребята стали по стенке. Те, кто был в шапках, сняли их и держали в руках.

— Рассаживайтесь, рассаживайтесь по партам! — сказала Марья Алексеевна.

Все быстро расселись.

Только тот здоровенный сутулый парень, на которого я еще раньше обратил внимание, не сиделся.

— Можно спросить? — сказал он неторопливо. — Мы сами с Украины... Приехали сюда с хоспиталем. Документов у нас нет.

— Так-так, — сказала Марья Алексеевна, — эвакуированные?

Все трое кивнули.

— И ни у кого нет документов?

— Ни у кого нету. Школа у нас сгорела... — оправдываясь, сказал худенький мальчик с грустными черными глазами. Он был в опрятной темной курточке, в узких, чуть корот-

коватых брюках и в огромных, взрослых, наверное отцовских, ботинках. — Ни у кого нету, — повторил он еще раз все тем же извиняющимся тоном.

— Так-так,— еще раз сказала Марья Алексеевна. — Ну ничего... Никаких документов вам здесь и не нужно. Просто вы мне сейчас немного о себе расскажете... Как вас зовут, где вы жили. И все. И никаких документов...

Она села за стол, обмакнула перо в чернильницу и приготовилась записывать.

— Борц, — сказал увалень с маленькими медвежьими глазками. — Борц Григорий Захарович...

Он рассказал, что они жили в Житомире, что отец его работал в Заготзерне, а теперь неизвестно, где он, а мать работает медсестрой в госпитале.

Худенького мальчика, который рассказывал про то, как сгорела школа, звали Витя Черненко. Он приехал с дядей и тетей. Родителей у него не было.

Записав все про него, Марья Алексеевна посмотрела на меня.

— А ты, — сказала она, — тоже эвакуированный?

Я кивнул.

Я не вполне был уверен, могу ли я считать себя эвакуированным. Но теперь, после того как я кивнул, мне уже неудобно было признаться, что в кармане у меня лежит новенькая, словно вчера выданная, метрика и справка о том, что я успешно перешел в седьмой класс 635-й школы Свердловского района города Москвы. Сказать, что у меня есть документы, — это значило признаться в том, что у меня школа не сгорела, что я никогда не был под бомбежкой и вообще, что называется, не нюхал пороха.

— Сазонов... — сказал я хрипло. — Моя фамилия Сазонов...

И вдруг я понял, что могу сейчас сказать про себя все, что захочу, и мне поверят, и запишут в классный журнал, и так это и останется... Могу сказать, что у меня тоже нет ни папы, ни мамы. Могу сказать, что я жил не в Москве, а в Житомире,

что перешел не в седьмой, а в восьмой класс. Ведь на мне это не написано. Вот Петька Ивичев перешел в седьмой, а я сначала подумал, что он в пятом...

У меня даже дух захватило.

— Так-так, — сказала Марья Алексеевна, — Сазонов... Имя?

И тут я сказал:

— Феликс...

Марья Алексеевна, видно, не расслышала.

— Как? — переспросила она.

— Феликс, — твердо повторил я.

Парень, которого все называли «Чапай», усмехнулся, открыв ослепительно белые зубы, и, приложив руку к уху, сказал громко, на весь класс:

— Как? Как? Хве... А дальше?

— Чапаев, не паясничай! — строго сказала Марья Алексеевна.

Я удивился, услышав, что она всерьез назвала этого парня с чубом Чапаевым. Я думал, это его так ребята прозвали, а оказывается, у него просто фамилия была такая — Чапаев.

У нас в Москве не всякого могли назвать этим именем. Это надо было заслужить! В каждом дворе был свой Чапай, и в каждой школе тоже. Чапай — это значило самый отчаянный, самый храбрый, всеми мальчишками признанный вожак и любимец.

— Чапаев, не паясничай! — сказала Марья Алексеевна. — И не показывай свою некультурность! Замечательное имя, очень красивое. — И, заглянув в свои записи, она отдельно произнесла: — Фе-ликс...

Как только я понял, что чубатый Коля на самом деле вовсе не Чапай, что Чапаев — это просто его фамилия, он сразу померк в моих глазах. Мне стало легко и весело.

— Меня назвали так, — сказал я небрежно, — в честь Феликса Дзержинского. Мой отец работал с Дзержинским.

Феликс Эдмундович умер в 1926 году, как раз когда я родился. Поэтому мне дали такое имя — Феликс.

Я победоносно оглянулся на Кольку Чапаева и на других ребят. Но ни на кого это, кажется, не произвело особого впечатления.

Марья Алексеевна сказала:

— Как же, как же... Феликс Эдмундович Дзержинский был одним из выдающихся деятелей Коммунистической партии и Советского государства. Вот пусть нам кто-нибудь сейчас напомним, какую важнейшую государственную комиссию возглавлял Дзержинский в первые годы советской власти.

У всех сразу стали скучные лица, как на уроке. Только Борц с видимым удовольствием встал и ответил полным ответом:

— Можно я скажу? В первые годы советской власти Феликс Эдмундович Дзержинский был председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией...

— Так-так, — сказала Марья Алексеевна, — очень хорошо. Теперь так... Кто учился во второй школе, поднимите руки...

Напряжение сразу исчезло. Все облегченно задвигались, стали хлопать крышками парт, тянуть руки прямо к носу Марьи Алексеевны, галдеть и переговариваться.

Обо мне забыли.

8

Письмо пришло утром.

Мама, как обычно, очень рано ушла в госпиталь на дежурство. Я собрался идти в школу и ушел бы, если б не Петька, который помахал мне из окна и крикнул:

— Эй, дожди меня!

Я взобрался на засыпанную снегом поленницу, подложил свой портфель и уселся там, дожидаясь, пока соберется Петька.

Во двор вышла бабушка. Увидев меня, она сказала:

— С ума сошел — на снегу сидеть? Ну-ка, слезь сейчас же! Погляди лучше, вот письмо пришло, не от отца ли...

Только тогда я заметил, что в руке у нее конверт.

Конверт был без марки, с длинным прямоугольным штемпелем. Помню, первое чувство, с которым я заглянул в него, было разочарование. Сначала мне показалось, что конверт пустой. Во всяком случае, никакого письма в нем не было. Только длинненькая белая бумажка, на которой бледными лиловыми буквами было напечатано, что тов. Сазонов Н. П. пал смертью храбрых в боях с немецко-фашистскими захватчиками...

...Что я сказал бабушке, и когда пришла мама, и кто показал письмо ей, ничего этого я не помню.

Помню только, я все время старался думать, что это какая-то ошибка. Мало ли на свете Сазоновых. Отец жив, кончится война, и он придет сюда, за нами, и мы все вместе поедем в Москву...

Но ничего у меня не получалось.

Тоскливая, ноющая боль, поселившаяся где-то внутри меня, как магнитом притягивала все мои мысли.

Начинал ли я думать о Кольке Чапаеве, который бросил школу и ушел работать на завод, или о нашем новом учителе литературы, смешном старике с огромным фиолетовым носом, мне сразу вспоминалось, что Кольке пришлось бросить школу, потому что отца у него взяли в армию, а новый учитель литературы пришел к нам в середине года, потому что наш любимец Георгий Алексеевич уже месяц как воевал под Москвой. Там же, где папа.

Обои на стене, газета на подоконнике, старая наша вилка, которую мы привезли с собой из Москвы, и другая вилка, со сломанным черенком, которую бабушка одолжила у соседей, — все, что ни попадалось мне на глаза, все напоминало о папе: папа не любил обоев, он говорил, что от них клопы; папа любил спать летом на улице, накрыв лицо газетой; папа ел этой вилкой, а этой вилкой он никогда не ел...

Тогда я стал нарочно думать о нем. О том, как до войны я ходил с ним в Зоопарк или в кино. Стал вспоминать старые, давнишние наши разговоры.

Особенно отчетливо запомнился мне почему-то один такой разговор.

Это было вечером, в один из обыкновенных довоенных вечеров. Мама ходила из комнаты в кухню и из кухни в комнату, гремела посудой. Папа сидел на диване и читал газету, а я, по обыкновению, приставал к нему с расспросами о той, старой войне, в которой он когда-то участвовал.

«Пап, — спросил я, — а ты стрелял?»

«Нет, сынок, не стрелял, только палочкой махал...»

«Какой палочкой?»

«Своей, капельмейстерской, дирижерской».

«И совсем не стрелял? Ни одного разочка?»

Отец задумался и вдруг оторвался от газеты:

«Один разочек был. До сих пор вспомнить страшно...»

Он встал, прошелся по комнате и опять надолго замолчал, словно забыл про меня.

«Ну!» — требовательно сказал я.

И он начал рассказывать:

«Наша часть заняла Жлобин. Маленький городишко... Я остановился на квартире у врача. Квартира большая, а в ней только трое: врач, его жена и красавица дочь...»

«Ну уж, красавица...» — Это сказала мама.

«Я тебе говорю, Маша... Кра-са-вица!» — весело сказал отец.

«Ну?» — нетерпеливо сказал я.

«Ну и вот, — продолжал отец, — вечером эта красавица стала спрашивать у меня, вот совсем как ты, — сказал он мне, но посмотрел при этом почему-то на маму, — умею ли я стрелять да заряжен ли у меня револьвер... Ну, я возьми и скажи: «Хотите, я вам покажу?» Она говорит: «Покажите!» Да... Стала у печки. Там у них в столовой такая белая кафельная печь была, большая. Стала и говорит: «Стреляйте!»

И смеется... Я глянул: в барабане всего три патрона. Сейчас ударит вхолостую, а следующий выстрел уже будет настоящий. Ну, прицелился я в нее, и словно толкнул меня кто — не могу! Даже холостым не могу стрелять в живого человека... Поднял руку чуть повыше и спустил курок...»

Отец замолчал и посмотрел на маму.

«Ну?!» — еще раз сказал я.

«Ка-ак тут бабахнуло! От печки только осколки посыпались. Красавица стоит белая, как бумага, я весь дрожу... Оказывается, что произошло: когда на курок нажимаешь, барабан поворачивается и подает следующий патрон. А я про это забыл...»

«И все?» — спросил я.

«А тебе мало? Ни за что ни про что чуть человека не убил».

«Ну-у, — сказал я разочарованно, — это не считается... А где теперь эта девушка?»

Я плохо помню, что мне ответил тогда папа. Кажется, сказал:

«Ну, мало ли где теперь может быть эта девушка! Столько лет прошло...»

Во всяком случае, мне тогда и в голову не пришло, что девушка, которую он чуть не убил, — моя мама.

А теперь, вспомнив этот давний разговор, я сразу посмотрел на маму. Она стояла около печки. У нас была тогда такая круглая черная печка в комнате. Мама стояла около этой печки, и лицо у нее было белое-белое. «Как бумага», — вспомнилось мне.

— Мам! — сказал я. — Помнишь, давно, до войны еще, папа рассказывал, как он нечаянно выстрелил в девушку. Это он тогда в тебя?..

Мама быстро вышла из комнаты. Я побежал за ней. Она вышла в кухню, опустилась на низенькую скамеечку, машинально зачерпнула кружкой воду из ведра и стала пить.

— Мам, — сказал я, — ну не надо...



Мама посмотрела на меня, закусив губу. «Сейчас заплачет!» — испуганно подумал я. Не знаю, почему я так боялся ее слез. Может быть, мне казалось, что, если мама не плачет, значит, все еще не так плохо? Не знаю...

Я стоял перед ней, изо всех сил сжимая ее руку, и бестолково повторял одно и то же:

— Не надо, мам... Прошу тебя, ну не надо...

9

Кончался учебный год.

Я принес маме табель, в котором уже были проставлены годовые отметки. Она взяла его в руки, посмотрела и сказала:

— Ничего не понимаю... Какой Феликс?.. Борис, это твой табель?..

Я даже не сразу понял, о чем она. Так много времени прошло и столько событий случилось за это время, что я совсем забыл про свое новое имя.

В школе к нему давно уже все привыкли и перестали обращать внимание на его необычность. Толстую белобрысую верзилу с задней парты — Малю Попову — звали Амалией. Меня звали Феликсом. Мало ли бывает на свете разных имен?

Учителя обычно называли нас по фамилиям. Для них я был просто Сазонов. Только Иван Сидорович, наш новый учитель по литературе, наткнувшись в классном журнале на мое имя, сказал:

— Феликс! От то да! Удружили родители... Сейчас такое имя редкость. А раньше, бывало, еще и не то встретишь. Ведь как бывало: сумели ублажить попа — наречет младенца как положено, даст имя человеческое. Обидели батюшку, мало поставили на крестины — он такое имечко в святцах разыщет, и не выговоришь...

Труднее всего было бы, наверное, привыкнуть к новому имени мне самому. Но мне привыкать не пришлось. Ребята, с легкой руки Петьки Ивичева, который стал своим человеком у нас дома, звали меня Борей. То, что мальчика, носящего трудное и малопонятное имя Феликс, в обыденной жизни зовут Борькой, казалось им таким же естественным, как то, что всех Александров зовут Сашками или Шурками, а всех Николаев — Кольками...

Короче говоря, я и сам давно уже забыл о том, что стал Феликсом...

— Какая дикая фантазия! — сказала мама, когда я ей во всем признался. — Какая нелепая, дурацкая выдумка! И почему именно Феликс?

Мне не хотелось объяснять почему. Да если бы и хотелось, я, наверное, не смог бы это сделать.

— Вот что, Боря, — сказала мама, — эту глупую историю надо как-то кончать. На днях ты получишь свидетельство об окончании семи классов. Как ты себе представляешь, там то-

же будет стоять какое-то чужое имя? Пойми, ведь это документ! Первый в твоей жизни настоящий, серьезный документ, который ты сам заработал. Это итог семи лет твоей жизни. И вдруг там будет написано, что ты — это не ты... Завтра же пойди и расскажи обо всем завучу!

Я молчал.

Я вдруг отчетливо увидел: фотография, два человека стоят рядом, и солнечные блики лежат на полу. На одном — шинель внакидку, у него худое, изможденное лицо, острая борода. Другой очень молод, он в кожаной куртке, в фуражке со звездой.

Фелька Кононенко сидит на столе, покусывая ноготь и обдумывая ход. «Да, — говорит он, — это отец рядом с Дзержинским... Поэтому меня и называли Феликсом...»

Имя «Феликс» звучало тогда для меня почти так же, как самое главное слово на земле — «революция». А революция, думал я, — это праздник. Это солнце, сверкающее в медных трубах духового оркестра, это красные флаги...

Мне казалось, что, если бы и меня звали Феликсом, я бы тоже жил совсем в другом мире — в том большом, веселом и праздничном мире, в котором живут все настоящие революционеры.

Как давно это было! Каким маленьким и глупым я был тогда!

Но пойти и сказать Марье Алексеевне, что на самом деле я не Феликс, — этого я тоже не мог. Это значило отказаться от чего-то неизмеримо большего, чем имя. Тогда я не понимал от чего. Теперь понимаю. Это было для меня все равно, что перейти в другое гражданство.

— Не дури, Борька, ты уже не маленький! — сказала мама. — Завтра же пойдешь к завучу. Ну, договорились?

Я молчал.

Мама запустила пальцы мне в волосы, притянула голову к себе, посмотрела мне прямо в глаза.

— Глупый, — сказала она. — Совсем еще глупый...

На другой день в школе я, конечно, вспомнил бы об этом разговоре, если б не выпускной вечер.

Наша школа была семилеткой. Если бы я кончал седьмой класс в Москве, это значило бы, что я перешел в восьмой. Только и всего. А здесь все было совсем иначе. Седьмой класс был самым старшим, последним.

Многие наши ребята вовсе не собирались учиться в восьмом классе. Некоторые уходили в техникум. Другие вообще бросали учебу.

— Работать пойдем, — говорили они, — хватит, выучились!

— А куда? — спрашивал я изумленно.

Они отвечали:

— В завод...

Отвечали так, как будто это было чем-то само собой разумеющимся.

Раньше мне и в голову не приходило, что, окончив седьмой класс, можно вообще перестать учиться в школе.

Школой измерялась вся моя жизнь. Я никогда не говорил о себе: «Это было, когда мне было одиннадцать лет». Я говорил: «Это было, когда я был в пятом классе».

Жизнь делилась на учебный год и каникулы. Каникулы означали конец учебного года и переход из одного класса в другой...

Все это было незыблемым, как порядок мироздания.

И вдруг оказалось, что этот порядок может быть изменен. Я сам могу его изменить. Стоит мне только захотеть. Захо-чу — пойду в восьмой класс, захочу — пойду в техникум. А захочу — вообще не буду учиться.

Так приятно было думать: «Надо решать».

В глубине души я, правда, не сомневался, что ничего решать мне не придется. Все произойдет само собой и так или иначе кончится тем, что я пойду в восьмой класс: бросить

школу и мама ни за что не позволит, и вообще... Нет, я не собирався воспользоваться внезапно открывшейся мне возможностью. Но меня волновало, что такая возможность есть. Все-таки я не просто перешел из класса в класс — я кончил школу! Через три дня состоится выпускной вечер. Марья Алексеевна даже обещала, что у нас на вечере, возможно, будет ситро. Почти довоенная роскошь! Но даже если б не ситро, одних этих слов — «выпускной вечер» — было достаточно, чтобы я забыл обо всем на свете.

Неудивительно, что я ни разу не вспомнил про свой неприятный разговор с мамой.

А тут еще прошел слух, что Марья Алексеевна запретила устраивать на выпускном вечере танцы. Нам, мальчишкам, конечно, было плевать на это. Но девчонки подняли страшный крик. Они требовали, чтобы классный организатор пошел к завучу и спросил, почему нельзя, чтобы были танцы!

Классным организатором у нас был Борц.

В Москве я привык к тому, что звание это не дает избранному никаких прав и не накладывает на него решительно никаких обязанностей. У нас обычно классным организатором выбирали самую тихую девочку, отличницу. Аккуратным, красивым почерком она составляла списки отсутствующих на уроке, и к этому, пожалуй, сводилась вся ее деятельность.

Когда на собрании в классные организаторы выдвинули Борца, я подумал, что он откажется. По моим понятиям, этого требовали приличия. Но Борц был откровенно рад и даже не пытался этого скрыть. Польщенно улыбаясь, он сказал:

— Ладно... Только, чур, слушаться!..

Его слушались. «Борц велел» — это было законом. Зато и он всегда был заодно с классом, даже если рисковал получить за это нагоняй.

Но тут Борц вдруг заупряился. Идти к завучу и спрашивать, будут ли на нашем вечере танцы, он не хотел ни под каким видом.

— Хучь будут, хучь нет, — твердил он, — не пойду!

Но девочки не успокаивались. Они сначала орали, потом стали умолять Борца, а когда и это не помогло, у них у всех стали такие жалкие, несчастные лица, что я не выдержал.

— Ну вас к черту! — сказал я. — Я пойду!

В учительской было тихо и непривычно пусто. На диване сидел Иван Сидорович и с сердитым, обиженным лицом читал газету. Он даже не поднял головы, когда я вошел, и, пока я раздумывал, нужно ли поздороваться с ним или лучше незаметно пройти мимо, из соседней комнаты донесся голос, от которого я вздрогнул.

— Я понимаю, что эта глупость доставит вам много забот, но что ж поделаешь... — услышал я.

Никаких сомнений: это был голос моей мамы.

Я стал за шкаф с учебными пособиями, чтобы Иван Сидорович не мог меня увидеть, и прислушался. Говорили обо мне.

— Мало ли что может случиться, — сказала мама, — госпиталь могут неожиданно перевести в другой город, и тогда в восьмом классе Боре придется учиться уже не здесь...

— Ну конечно, — сказала Марья Алексеевна, — я и представить себе не могла... Разве можно угадать все, что они в состоянии выдумать! Он такой серьезный...

К Ивану Сидоровичу, видимо, кто-то подсел, потому что он вдруг громко сказал:

— От бисова душа!

И стал ругать Черчилля за то, что он долго не открывает второй фронт. Из-за Черчилля я прослушал, что говорила обо мне маме Марья Алексеевна.

Иван Сидорович ненадолго замолчал, и я услышал, как мама сказала:

— После разговора с ним я поняла, что он сам ни за что этого не сделает. Мальчишки в этом возрасте так самолюбивы!

— Да, — сказала Марья Алексеевна, — переходный возраст самый трудный...

Тут Иван Сидорович снова стал объяснять кому-то, что

англичане всегда любили загребать жар чужими руками. Когда он замолчал, мама и Марья Алексеевна говорила уже о каких-то совершенно неинтересных и не касающихся меня вещах: об умении управлять своей фантазией, о сдерживающих центрах и еще какую-то ерунду о переходном возрасте.

Все это они говорили уже в дверях кабинета Марьи Алексеевны, буквально в двух шагах от меня. Я видел, как мама близоруко щурится. Потом она протянула Марье Алексеевне руку и улыбнулась, и сразу стало видно, что у нее сбоку не хватает двух зубов.

Когда она улыбнулась, острое чувство жалости к ней вдруг пронзило меня.

Раньше я бы сгорел со стыда от одной только мысли, что мама может прийти в школу и разговаривать обо мне, как о маленьком. Я не мог бы после этого посмотреть Марье Алексеевне в глаза.

А теперь — странное дело! — мне было решительно все равно, что подумает обо мне Марья Алексеевна и вообще кто бы то ни было.

«Не пойду я в восьмой класс, — вдруг твердо решил я. — И в техникум не пойду. Пойду работать на завод, как Колька Чапаев, как другие ребята. Получу зарплату и дам маме, и пусть она себе вставит золотые зубы...»

11

Через три дня, на выпускном вечере нашего класса, Марья Алексеевна вручала нам свидетельства об окончании школы.

Все было очень торжественно. На сцене нашего маленького школьного зала сидели все учителя, директор школы и еще какие-то незнакомые нам люди. Марья Алексеевна, улыбающаяся, в новом нарядном платье, называла имя и фамилию. Тот, кого выкликали, поднимался на сцену. Его поздравляли, говорили ему разные торжественные слова и давали свидетельство.

— Борц Григорий! — громко выкрикнула Марья Алексеевна.

Борц, красный от смущения, встал и подошел к столу. Марья Алексеевна стала что-то говорить ему, радостно улыбаясь.

Я представил себе, как дойдет очередь до меня и она так же громко, на весь зал, крикнет:

«Сазонов Борис!»

И, радостно улыбаясь, объявит:

«Вы думали, Сазонова зовут Феликс? Я тоже так думала! Но недавно выяснилось, что Сазонов нас обманул. Оказывается, все это была его фантазия...»

«Ну и пусть!» — подумал я и приготовился к самому худшему. И все-таки, когда очередь дошла до меня, сердце у меня ёкнуло.

— Сазонов Борис! — сказала Марья Алексеевна.

«Сейчас начнется! — пронеслось у меня в голове. — Сейчас все так и вытаращат глаза. Почему Борис? Какой такой Борис?»

Держа свидетельство в обеих руках, с напряженным, застывшим лицом, ни на кого не глядя, я прошел в самый конец зала и плюхнулся на стул рядом с Борцем.

— Дай помацать! — сказал Борц и потрогал мое свидетельство пальцем.

— Знаешь что!.. — зло сказал я. И вдруг осекся.

Я ждал насмешек. Самые безобидные слова в тот момент я принял бы за издевку. Но у Борца было такое бесхитростное и простодушное лицо, что я вдруг сразу поверил, что в словах его нет ничего, кроме простого любопытства.

Я поднял голову и поглядел на ребят.

Одни слушали, что говорила в этот момент Марья Алексеевна, другие, как мы с Борцем, бережно разглядывали только что полученные новенькие свидетельства.

Никто ничего не заметил.

Феликс Сазонов перестал существовать. Он пропал, рас-

таял, рассыпался, растворился в воздухе. И никто этого не заметил.

Я был так поглощен случившимся, что не сразу понял, почему все вдруг встали и гурьбой двинулись в учительскую. Марья Алексеевна тоже не сразу это поняла. Она оборвала на середине длинную, торжественную фразу и уже не радостным, а обычным, учительским голосом громко спросила:

— Что? В чем дело?

Все вразнобой закричали:

— Сообщение... Важное сообщение...

Только тут я сообразил: радио! Кто-то услышал позывные! Сейчас по радио передадут важное сообщение.

Когда я добежал до учительской, туда уже было не пробиться. Сзади меня, запыхавшись, шла Марья Алексеевна. Она осталась стоять в дверях, а я с трудом протиснулся внутрь. Борц, увидев, что я пытаюсь пробраться вперед и не могу, раздвинул толпу ребят, взял меня за плечи и поставил перед собой, прямо напротив нашего старенького школьного репродуктора. Его ручки так и остались у меня на плечах. Стоять было неудобно и жарко, но я бы ни за что не согласился, чтобы Борц убрал руки. Мне казалось, что он нарочно положил руки мне на плечи, чтобы показать, что считает меня товарищем, своим парнем.

Вот в последний раз прозвенели позывные, и знакомый голос Левитана сказал:

— От Советского Информбюро...

Я представил себе, как сейчас этот торжественный и печальный голос скажет: «После продолжительных, ожесточенных боев наши войска оставили город...»

Наверное, не я один так подумал. Мы все привыкли к этой фразе. Она почти не менялась. Менялись названия городов. В тот день на очереди был Воронеж.

Но тут голос Левитана внезапно утратил свой торжественно-печальный тон. Спокойно, как будто в этом не было ничего особенного, он сказал:

— Налет советских самолетов на Кенигсберг. На днях большая группа наших самолетов в сложных метеорологических условиях бомбардировала военно-промышленные объекты города Кенигсберга в Восточной Пруссии. В результате бомбардировки в городе возникло тридцать восемь очагов пожара, из них семнадцать пожаров в центре города...

Я осторожно оглянулся.

На всех лицах застыло одно выражение. Это было и напряженное внимание, и удивление, и робкая, недоверчивая радость, смесь радости и страха, что радость может оказаться преждевременной.

Я подумал, что и у меня сейчас, наверное, точь-в-точь такое же лицо.

— Четырнадцать пожаров, возникшие на юго-западной окраине города, — гремел голос Левитана, — сопровождалась десятью взрывами. Семь очагов пожара и три сильных взрыва возникло на северо-западной окраине города...

Я вдруг вспомнил, как в самом начале войны прошел слух, что наши взяли Кенигсберг. Я не сомневался тогда, что это правда. Неужели это было прошлым летом? Неужели тогда уже была война? Не может быть! Это было давным-давно, тыщу лет назад, еще в той, прежней, довоенной жизни...

Теперь все было другое. Немцы были в Киеве, в Крыму и на Кавказе. Они были в той маленькой волжской деревушке, в которой мы с мамой жили, когда началась война.

И вот наши бомбят Кенигсберг! Это казалось чудом. Если б я не слышал это только что сам по радио, ни за что бы не поверил!

— Все наши самолеты вернулись на свои базы, — сказал Левитан.

Передача важного сообщения была окончена. Мы стояли и молчали.

Это была весна сорок второго года. Самая трудная военная весна.



САМОЕ ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

1

Эта история случилась лет пятьдесят назад, а может быть, даже и больше.

В одно северное селение приехал человек. Давным-давно он ушел отсюда в далекий большой мир, откуда никто никогда не возвращался. Но он вернулся. И вот, после того как жители селения отметили его возвращение обильным пиршеством, он начал рассказ о чудесах, которые довелось ему повидать. Он рассказал о чуде, которое называется «пароход».

— Пароход идет по воде сам, без весел, — сказал он. — Он больше байдарки во столько же раз, во сколько байдарка больше, чем песчинка. Он сделан из железа. И он не тонет.

— Нет, нет! — возразил старейшина этого селения. — Как это может быть? Железо всегда идет ко дну. Недавно у старейшины соседнего селения я выменял нож, и вчера нож выскользнул у меня из рук и сразу пошел вниз, в самую глубь моря. Всему есть свой закон. Никогда не бывало, чтобы хоть единая вещь не имела закона. Для всех одинаковых вещей закон один, и потому для всего железного закон тоже один. Отрекись от своих слов, гость наш, чтобы мы не потеряли к тебе уважения.

Но гость не захотел отречься от своих слов. Он стал рассказывать о другом чуде, которое видел в далеких краях. О чуде, по имени «паровоз».

— Вдалеке я увидел чудовище, равное тысяче китов. Оно было одноглазое и изрыгало дым и фыркало оглушительно громко. У меня от страха задрожали ноги... А оно приближалось с быстротой ветра, это чудовище, и только я успел отскочить в сторону, как оно обдало меня горячим дыханием...

— А потом? Что же было потом?! — с испугом спросили жители маленького селения, никогда не видавшие паровоза.

— Потом оно промчалось по железным полосам мимо меня и не причинило мне вреда. А когда ноги у меня перестали трястись, оно уже исчезло из виду. И в той стороне это самое обыкновенное дело. Этих чудовищ не боятся даже женщины и дети, и люди заставляют их там работать.

— Как мы заставляем работать наших собак?

— Да, как мы заставляем работать собак...

— А как они разводятся, эти... чудовища?

— Они не разводятся вовсе. Люди искусно делают их из железа и кормят камнями и поят водой. Камни превращаются в огонь, вода — в пар, а этот пар и есть дыхание их ноздрей и...

— Хватит, хватит, о гость наш! — прервал пришельца старейшина селения. — Расскажи нам о других чудесах. Мы устали от таких, которых мы не понимаем.

И тогда пришелец подумал о машинах, показывающих

изображения живых людей, и о машинах, из которых исходят человеческие голоса, и ему стало ясно, что его народ ни за что этого не поймет.

И так все и случилось. Когда он стал рассказывать дальше, люди этого далекого северного селения решили, что он великий лжец. А когда он поклялся им самой страшной клятвой, что он говорил правду, они подумали, что он вернулся из страны теней — страны, куда попадают души умерших и откуда никто не возвращается. И они заставили его сесть в лодку и навсегда покинуть родное селение, потому что мертвым не годится быть среди живых, а живым не полагается знать ничего о царстве мертвых...

2

Это случилось больше чем пятьдесят лет назад.

Теперь уже нет на нашей земле такого глухого селения, где люди не знали бы, что такое паровоз и пароход, телефон и радио.

На столе стоит полированный ящик с экраном. Ты поворачиваешь крохотный рычажок, экран вспыхивает, и ты видишь людей, находящихся далеко-далеко от тебя и твоего дома.

А вот другой ящик, совсем такой же, как первый, только без экрана. Легкое прикосновение руки — загорается яркий зеленый глазок, и в твою комнату врываются голоса людей, живущих в чужих, далеких странах. Ты спокойно сидишь у себя дома, а перед тобой на разных языках шумит, поет, говорит, грустит и веселится весь мир.

Мы так привыкли ко всем этим чудесам, что даже не считаем их чудесами. Они давно уже стали для нас самой обыкновенной вещью. Мы живем среди них, мы их не замечаем. Двенадцатилетний мальчишка может сегодня объяснить схему устройства радиоприемника и рассказать, почему на экране телевизора появляется изображение.

Но все это чудеса сложные.

Прежде чем они появились на свет, над ними ломали голову ученые, изобретатели, инженеры. На разных заводах, на сложнейших станках сотни рабочих делали детали для того, чтобы появился на свет телевизор или радиоприемник.

А есть в нашей жизни другое — самое простое, самое обыкновенное и, пожалуй, самое большое чудо. Это чудо — искусство слова.

В самом деле, подумайте.

Сидит человек за столом. В руках у него ручка. Часто даже не самопишущая, а обыкновенная, простая или даже вовсе огрызок карандаша. Перед ним чистые листы бумаги. Человек сидит, думает, потом медленно исписывает бумагу какими-то закорючками. Проходит день, месяц, год. Множество листов бумаги, испещренных такими же закорючками, берет в руки другой человек. Он смотрит на эти закорючки, и в его воображении оживают события, лица, люди — те самые, которые жили в воображении писателя, когда он сидел над чистым листом бумаги. И никаких экранов, радиоволн. Только стопка белой бумаги да огрызок карандаша.

— Что, разве не чудо?

Вот Алексей Максимович Горький вспоминает о том, как он впервые в жизни прочел рассказ французского писателя Гюстава Флобера «Простое сердце»:

«Помню, «Простое сердце» Флобера я читал в троицын день вечером, сидя на крыше сарая, куда залез, чтобы спрятаться от празднично настроенных людей. Я был совершенно изумлен рассказом, точно оглох, ослеп, — шумный весенний праздник заслонила передо мной фигура обыкновеннейшей бабы, кухарки, которая не совершила никаких подвигов, никаких преступлений. Трудно было понять, почему простые, знакомые мне слова, уложенные человеком в рассказ о «неинтересной» жизни кухарки, так взволновали меня? В этом был скрыт непостижимый фокус, и — я не выдумываю — несколько раз, машинально и как дикарь, я рассматривал страницы на свет, точно пытаюсь найти между строк разгадку фокуса...»

Прошли годы. Мальчишка, который в троицын день, забравшись на крышу сарая, разглядывал на свет страницы книжки, пытаясь найти разгадку «фокуса», сам стал великим писателем. Но до последних дней своей долгой жизни он не переставал повторять:

«Для меня литература — чудо!»

«Книга — самое удивительное и самое великое из всех чудес, созданных человеком».

Что же изумляло Горького в книгах великих художников слова?

А вот что.

«...Совершенно поражен был я, — рассказывает он, — когда в романе Бальзака «Шагреновая кожа» прочитал те страницы, где изображен пир у банкира и где одновременно говорят десятка два людей, создавая хаотический шум, многоголосие которого я как будто слышу. Но главное — в том, что я не только слышу, а и вижу, кто как говорит, вижу глаза, улыбки, жесты людей, хотя Бальзак не изобразил ни лиц, ни фигур гостей банкира».

В самом деле, разве это не поразительно! Писатель даже не описал внешности своих героев, а мы их отчетливо себе представляем, видим их так ясно, как будто тысячу раз с ними встречались.

Конечно, это удивительно. Для нас с вами. Но Горький!.. Ведь он сам был писателем. Он написал много книг. Уж кто-кто, но он-то знал, как это делается! Он-то разгадал, в чем здесь «фокус», в чем секрет этого чуда! А чудо, секрет которого разгадан, сразу перестает быть чудом. Почему же до конца своих дней Горький говорил об искусстве писания книг как о чуде? Может быть, умение написать книгу и в самом деле чем-то похоже на волшебство?

Конечно, разглядывая страницы книги на свет, секрета мы не разгадаем и на интересующий нас вопрос не ответим.

Ответить на этот вопрос можно, только узнав, в чем состоит труд писателя и что значит одно короткое, веселое, за-

гадочное слово — «талант». Но это легко сказать: узнайте, в чем состоит труд писателя. А как его узнаешь?

Секреты любого труда можно разгадать, наблюдая за тем, кто трудится, перенимая его трудовые навыки, постигая его умение. Совсем другое дело — труд писателя. Писатель работает без свидетелей. Один творит он в тишине своего рабочего кабинета. Работа его не терпит посторонних глаз. Человек, сумевший написать книгу на глазах у зрителя, — это не подлинный писатель, не настоящий. Фокусник, а не волшебник.

Кто же может рассказать, что происходит, когда писатель остается наедине с чистым листом бумаги?

Выходит, никто, кроме самого писателя.

Тогда, может быть, нам так и сделать: обратиться к какому-нибудь писателю и попросить его, чтобы он открыл нам свою тайну. Пусть честно расскажет обо всем, что нас интересует.

Такую попытку сделали однажды. Пришли к известному писателю и попросили его:

— Расскажите нам, пожалуйста, как вы работаете над своими книгами.

Писатель улыбнулся и ответил:

— Ваша просьба напомнила мне историю про сороконожку. Сороконожку спросили: «Как ты ходишь? Что делает твоя тридцать четвертая нога, когда первая касается земли? И где находится восьмая, когда по земле ступает семнадцатая?» Сороконожка задумалась. Она долго высчитывала что-то, пытаясь ответить на вопрос, и в конце концов так запуталась, что, когда захотела проверить свои вычисления, не смогла сделать ни шагу. Так она и до сих пор не сдвинулась с места. Я боюсь, — сказал этот писатель, — как бы со мной не случилось того же, что с бедной сороконожкой, которая разучилась ходить. Если я стану размышлять над тем, как я работаю, то, чего доброго, совсем разучусь писать книги.

Вот видите, оказывается, и писателю ответить на наш во-

прос не так уж просто. Что же делать? Неужели мы так и не узнаем, как создает писатель своих героев, как он населяет книгу живыми людьми?

Остается последнее средство: прибегнуть к помощи чуда. Для того чтобы узнать секреты волшебников, надо самому стать волшебником. Это самый лучший способ. Вот увидите.

Давайте сделаем так. Вызовем самих книжных героев и послушаем их разговоры. Вы думаете, это очень трудно? Ничего подобного. Для этого нужно только иметь воображение. Итак, я сейчас вызываю кого-нибудь из наших любимых книжных героев. Пусть это будет... ну, скажем, папа Карло из книги Алексея Толстого «Золотой ключик».

Для того чтобы папа Карло появился передо мной, мне даже не придется подходить к полке, доставать синий, тисненый золотом том, листать его, искать знакомую страницу. Стоит только закрыть глаза, и — раз, два, три!

3

Я даже не успел мысленно произнести слово «три», а папа Карло собственной своей персоной уже тут как тут. Вот он сидит и вертит в руках полено, которое подарил ему столяр Джузеппе... Разглядывает его добрыми подслеповатыми глазами...

Давайте послушаем, что он там бормочет себе под нос.

«Карло. Пожалуй, Джузеппе и впрямь дал мне дельный совет... Вырежу куклу, научу ее разным штукам и буду ходить по дворам с шарманкой — зарабатывать себе на кусок хлеба... Так. Первым делом вырежем волосы, потом лоб. Как бы мне ее назвать?

Полено. Буратино!

Карло. Что это? Мне почудилось, будто кто-то сейчас сказал: «Назови ее Буратино»... Неужто здесь кто-то прячется? Эгей! Приятель! Где ты?.. Никого. Наверное, я сам это и сказал. Забывчив стал... Старость... И в самом деле, назову-

ка я ее Буратино. Я знал одно семейство — всех их звали Буратино: отец — Буратино, мать — Буратино и сынишка — тоже Буратино... Ох, и баловник же был этот Буратино! Да, Буратино хорошее имя для куклы!.. Теперь глаза... Вот тебе раз! Не успел ковырнуть стамеской — глаза у него сами раскрылись... Деревянные глазки, почему вы так странно смотрите?.. Теперь вырежу тебе рот, и будет у меня сынишка с хорошеньким маленьким ротиком.

Буратино. Ой, ой, ой, слишком маленький рот!

Карло. Фу ты, как ты меня напугал!

Буратино. Не хочу маленький рот!

Карло. Ладно уж, ладно, не вертись, сделаю тебе рот побольше.

Буратино. Не хочу побольше! Хочу рот до ушей!

Карло. Господь с тобой, Буратино, я еще только начал тебя мастерить, а ты уже делаешь все, что хочешь. Где же это видано — рот до ушей?

Буратино (*кричит*). Хочу до ушей, хочу до ушей!

Карло. Ну ладно, пускай до ушей... А теперь вырежем маленький хорошенький носик.

Буратино. Не хочу маленький! Хочу большой нос!

Карло. Это ни на что не похоже... Фу ты, даже очки свалились! Батюшки, да у тебя, никак, нос сам вырос! И разве это нос? Это шило какое-то, а не нос. Надо его укоротить.

Буратино. Ой, ой! Не дамся, не дамся! Не трогайте мой чудный нос!

Карло. Ах, сорванец! Прямо из рук вырывается... Что же это такое, Буратино? Выходит, я не могу тебя сделать, каким захочу?

Буратино. Конечно, не можете! Сделайте меня таким, каков я есть.

Карло. А ведь мальчишка прав... Я, помню, сам вот так же, слово в слово, отвечал писателю, который меня сочинил. Ох, и намучился же он со мной! Он, видите ли, сначала хотел, чтобы я был совсем другим. Ну, а я сказал ему: нет уж, будь-

те добры, сделайте меня таким, каков я есть. Он, понятно, сначала не соглашался, а потом пришлось ему меня послушаться. Еще бы! Я сопротивлялся, пожалуй, еще похлеще, чем мой Буратино. Как сейчас помню, как все это было... Впервые я увидел свет в большой комнате с камином, с огромными картинами, висящими на стенах, с низкими застекленными шкафами, наполненными множеством книг. За массивным письменным столом, на котором лежала стопа белой глянцевитой бумаги, сидел человек и что-то быстро писал. Я сразу понял, кто этот человек. Это был писатель. Он только что меня придумал. Именно поэтому я и появился здесь, в этой комнате.

Я неслышно заглянул в лежащий на столе лист бумаги. Там было написано: «Дверь отворилась, и вошел довольно бойкий старичок, по имени Джеппето...» Даже не дочитав до конца, я сразу понял, что это про меня.

«Что за чушь, — подумал я, — какой же я Джеппето! Меня зовут Карло. Надо ему сказать, что я Карло...»

Не успел я это подумать, как человек, сидящий за столом, поморщился и быстрым, размашистым движением пера зачеркнул слово «Джеппето».

Откинувшись в кресле, он сидел некоторое время молча, не глядя в мою сторону, и посасывал трубку. И вдруг, подняв голову, уставился прямо на меня. Вынул трубку изо рта и заморгал... «Увидел», — подумал я и, сам не знаю почему, сказал:

«Эхе-хе! Каково-то тебе, старый Карло... Третий день даже похлебку не на чем разогреть...»

Человек за столом обрадованно захохотал и быстро написал на бумаге эти мои слова... Потом снова посмотрел на меня долгим, немигающим взглядом и вдруг застрочил; я едва успевал следить взглядом за его пером.

«...слово «похлебка», — быстро писал он, — невольно заставляло нашего милейшего Карло нахмуриться. Дело в том, что соседние мальчишки, когда хотели вывести его из себя, дразнили старика «Похлебкой» из-за желтого парика, очень

похожего на похлебку. Карло был очень вспыльчив. Беда, если кто-нибудь называл его Похлебкой. Он сразу становился зверем, и тогда уж унять его было невозможно...»

Тут я не выдержал:

«Это кто становился зверем? Это кого называли Похлебкой? Нет уж, сударь! С вашим Джеппето, может быть, все именно так и происходило, а я, к вашему сведению, не Джеппето. Я добрый старый Карло и зверем отродясь не бывал. Будьте добры, сейчас же вычеркните эту чепуху!»

Писатель задумчиво посмотрел на меня, снова посасывая трубку, ничего не ответил и медленно, словно нехотя, крест-накрест перечеркнул написанное.

«Вот то-то, — сказал я ему, — извольте описывать меня таким, каков я есть, а не так, как это вам заблагорассудится...»

4

Признайтесь, ведь вы не верите, что все это было так, как рассказал сейчас старый папа Карло? В самом деле, где это слыхано, чтобы герой книжки спорил с писателем? Ведь писатель сам создает своих героев, придумывает их. Разве это не значит, что он целиком распоряжается их судьбой? Разве не от писателя зависит, будет у книги счастливый или несчастный конец? Разве не писатель решает, быть его герою добрым или злым, лукавым или простодушным?

Оказывается, все это совсем не так просто.

Может быть, старый Карло и прихвастнул немного, может быть, он присочинил какие-нибудь отдельные подробности, но самое главное он рассказал правильно.

Почти всегда герой действительно спорит с писателем, борется с ним, и чем талантливее писатель, тем чаще в этом единоборстве побеждает герой.

«Представь, какую штуку удрала со мною Татьяна! Она замуж вышла. Этого я никак не ожидал от нее...» — говорил

Александр Сергеевич Пушкин о своей героине Татьяне Лариной.

А вот что говорит о своих героях Лев Толстой:

«...Герои и героини мои делают иногда такие штуки, каких я не желал бы».

Не было на свете такого писателя, который хоть раз в жизни не пожаловался бы на то, что его герой совершил какой-то неожиданный поступок. Но ведь, в конце концов, это Пушкин придумал свою Татьяну. Это он сам решил выдать ее замуж за генерала.

Что же заставляет писателя изменять свои планы? Ответ тут может быть только один: чувство художественной правды. Художник выбирает своему герою ту, а не другую судьбу потому, что он безошибочно чувствует: да, это могло быть только так и не иначе. Это «шестое» чувство так же необходимо писателю, как музыкальный слух скрипачу или дирижеру.

Попробуем понять, что это значит — «чувство художественной правды». Представьте себе, что вам сказали про вашего близкого друга, что он совершил подлость. Без сомнения, вы сразу же скажете: «Этого не может быть!»

«Почему вы так уверены? — спросят вас. — Ведь вы же при этом не присутствовали?»

«Правда, — подумаете вы, — я при этом не был. Но представить себе, что он мог совершить такое... Нет, не могу!»

Вы берете на себя смелость верить или не верить фактам, свидетелем которых вы не были. Что дает вам на это право? То, что вы знаете человека, о котором идет речь, и, следовательно, знаете, что он не способен совершить тот поступок, в котором его обвиняют.

Нечто похожее происходит с писателем.

Писатель, если он настоящий художник, относится к своим выдуманным героям, как к живым людям: он видит их, разговаривает с ними, знает их мельчайшие наклонности и привычки. Он знает их не просто как знакомых, но как бесконечно близких ему людей, с которыми бок о бок прожил не один

год. Нет ничего удивительного в том, что он легко может угадать каждый их поступок, каждое движение души.

Конечно, не так все это просто. Бывает, что друг не рискнет поручиться за своего друга. Что ж! Значит, он плохой друг!

Нередко встречаются писатели, которые не знают своих героев настолько, чтобы безошибочно угадывать каждый их поступок. Значит, это плохие писатели!

Для настоящего писателя герой его книги, даже если он деревянный человечек Буратино или игрушечный Щелкунчик, — это живой человек, со своим, только ему присущим голосом, со своими, только ему присущими жестами, со своими, только ему присущими чертами характера. Поэтому, когда вы читаете о фантастических приключениях никогда не существовавших в действительности Щелкунчика или Буратино, у вас ни на секунду не возникает сомнения в том, что все было именно так, как об этом рассказывает писатель.

Недаром говорят:

«У Гоголя прочтешь: «Открылась дверь, и вошел черт...» Веришь! У плохого писателя прочтешь: «Открылась дверь, и вошел человек». Не веришь!..»

«Не веришь» — это значит, писателю изменило чувство художественной правды. Именно оно, это безошибочное чувство художественной правды, является главным, решающим в том сложном сочетании человеческих способностей и дарований, которое называют обычно талантом писателя.

Вам, наверное, часто приходилось слышать это выражение: «талантливый писатель». А слышали вы, чтобы словом «талантливый» определяли не писателя, а читателя? Вряд ли. О читателе так обычно не говорят. А ведь читатель тоже может быть талантливым или бездарным.

Один человек прочел книгу и тут же забыл ее, спустя месяц-другой уже не может вспомнить, читал он ее или нет. Казалось бы, что ж, дело ясное: просто это была плохая книга. Но вот ту же самую книжку прочел другой человек, и она жи-

вет в его сознании долгие годы. Каждое событие, описанное в книге, врезалось в его память так крепко, как будто оно произошло не с героем книги, а с ним самим. В первом случае перед нами просто человек, умеющий складывать буквы в слова, а слова — в предложения, во втором — настоящий читатель.

Меня недавно спросил один мой приятель, вполне взрослый и даже не очень уж молодой человек:

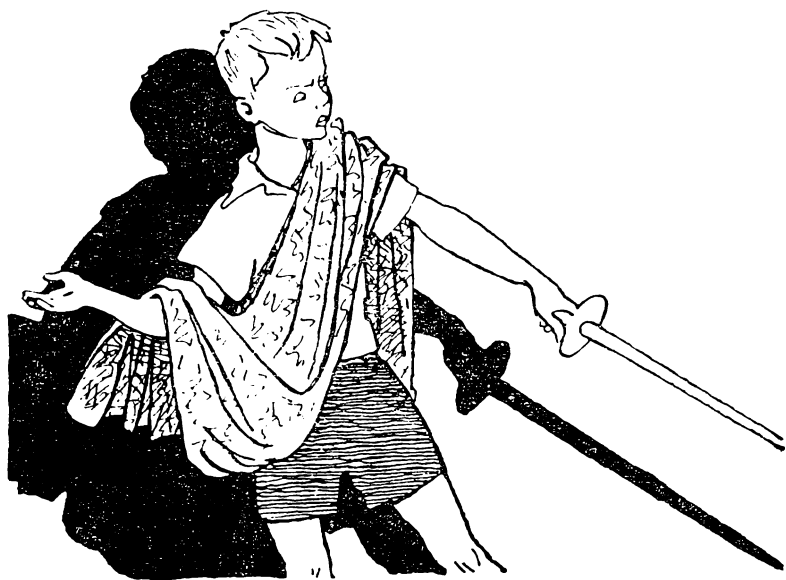
— Ты хорошо помнишь «Детство Никиты»?

— Помню... А что? — не очень уверенно спросил я. Все-таки лет двадцать, не меньше, прошло с тех пор, как я читал эту книгу Алексея Толстого.

— Да, я тоже читал ее только в детстве, — ответил он, когда я сказал ему об этом, — и знаешь, много разных событий случилось за это время в моей жизни. Какие-то из этих событий я помню лучше, какие-то хуже. Некоторые забыл совсем. И лишь немногие события моей собственной жизни оставили у меня в памяти такой глубокий, такой яркий и неизгладимый след, какой оставили в ней события этой давным-давно, в детстве прочитанной книжки. Вот сейчас мы с тобой заговорили о ней, и я так и вижу: голубоватые лунные блики лежат на паркете... Слышу, как жалобно скрипит дверь и скрип ее гулко разносится по пустым комнатам. Я вдыхаю уютный запах печного тепла и старинных вещей. У меня сладко замирает сердце, как будто это не какой-то выдуманный писателем мальчик Никита, а я сам бежал когда-то по залитому лунным светом паркету, чувствуя, как чья-то рука неслышно касается моих волос...

После этого разговора я невольно вспомнил моего соседа, мальчика Вову, который в прошлом году прочитал впервые «Три мушкетера» Дюма. Прочитав эту книгу, он почти целый год был д'Артаньяном. Я не оговорился. Он не просто воображал себя героем книги — он действительно был им.

Настоящий читатель — это тот, кто не просто прочел книгу, но пережил ее: он жил вместе с ее героями, радовался их радостями, страдал и мучился вместе с ними.



Талант — это удивительная способность видеть и переживать придуманное с такой остротой и силой, как если бы оно случилось в жизни на самом деле, — почти так же необходим читателю, как и тому, кто пишет книги.

Если бы не было читателей, наделенных этим талантом, не было бы и книг.

На свете есть много разных сказок. И редкая сказка обходится без чуда. Почти в каждой из них появляется волшебник. Он прикасается своей волшебной палочкой к столу, к лампе, к дивану, креслу — самым обыкновенным, повседневно окружающим нас вещам и предметам, — и они оживают. Оживают игрушки. Колода карт превращается в сказочное королевство; нарисованные и раскрашенные короли и валеты становятся живыми людьми.

Так бывает в сказках. Но нечто подобное часто происходит и в жизни. И каждый из вас может оказаться таким волшебником.

Представьте себе библиотеку, любую библиотеку, в которой всем вам наверняка приходилось бывать. Полки, полки, полки, уставленные книгами. Каждая из них — просто пачка бумаги, сброшюрованной и заключенной в переплет. Откроешь ее: мертвые черные значки — буквы, буквы составляют слова, слова — предложения. Но стоит только взять книгу в руки настоящему читателю — человеку, наделенному волшебной палочкой читательского таланта, — и все мгновенно меняется. Герои книги словно пробуждаются от сна, расправляют затекшие мускулы и начинают действовать, говорить, спорить — жить. Они становятся бесконечно близкими тебе людьми, людьми, без которых ты уже не можешь представить себе свою жизнь. Такая волшебная палочка есть у каждого. Есть она и у тебя. Нужно только иметь воображение.



ЧТО ТАКОЕ — БЫТЬ ПОЭТОМ

Это письмо пришло в редакцию одного московского журнала. Там его дали мне и попросили ответить. Я привожу письмо полностью, не изменив в нем ни одного слова.

«Дорогая редакция! Один мальчишка в нашем классе сочинил стихотворение. Он сам его сочинил, ниоткуда не списывал. По-моему, стихотворение это очень хорошее, и я думаю, что у Сережки внезапно открылся талант. Дорогая редакция, прочтите это стихотворение и обязательно ответьте: правда ли, что у Сережки талант и он сможет стать настоящим поэтом?

Люда Семейова ».

К письму было приложено стихотворение, переписанное старательным, круглым почерком. Вот оно:

Привольный край свободного народа,
Из года в год он все растет.
Пусть царствует здесь свобода,
Пусть вера в мир в сердцах людских живет!

Нам в будущее все дороги открыты,
И все пути к счастью нас ведут.
О счастье шепчут колосья пшеницы,
И птицы песню счастья нам поют.

Расти и крепни, Родина свободная,
Шумите, колхозные поля,
Цветите, сады необозримые,
Красуйся, советская земля!

Сначала я хотел ответить на это письмо так:

«Дорогая Люда! Стихотворение это не очень хорошее.

Оно неуклюжее, нескладное, в нем часто нарушается стихотворный размер...» И так далее — все, что полагается говорить в подобных случаях.

Все это было бы чистой правдой. Стихотворение и в самом деле неуклюжее, и размер часто нарушается. Но ведь это все — дело поправимое. Ничего не стоит заменить отдельные слова.

Вот, например, во втором четверостишии вместо «дороги» написать «пути», а вместо «колосья» — «колоски». Во второй строке первого четверостишия вместо «все растет» написать, ну, скажем, «крепнет и растет»... Некоторые слова поменять местами.

Одним словом, пройтись немножко по стихотворению с карандашом в руках и чуть-чуть его поправить.

Пять — десять минут такой «редакторской правки» — и вот что получилось:

Привольный край свободного народа,
Из года в год он крепнет и растет.
Пусть царствует здесь дружба и свобода,
Пусть вера в мир в сердцах людских живет!

Нам в будущее все пути открыты,
И все дороги к счастью нас ведут.
О счастье шепчут колоски пшеницы,
И птицы песню счастья нам поют.

Расти и крепни, Родина свободная,
Шумите же, колхозные поля,
Цветите же, сады необозримые,
Красуйся же, советская земля!

Как будто стихотворение стало гораздо лучше. Но это только так кажется. На самом деле оно стало не лучше, а только глаже. Ну, более складным, что ли.

Судя по письму Люды Семеновой, Сережа, о котором идет речь в ее письме, написал первое в своей жизни стихотворение. Пройдет немного времени, и он научится писать стихи гладко, не нарушая стихотворного размера. Но ведь Люду интересует не это. Ее интересует, есть ли у Сережи поэтический талант. Есть ли у него данные для того, чтобы когда-нибудь стать настоящим поэтом.

Вероятно, многие из вас очень удивятся. В самом деле, что это значит? Ведь поэтами как раз и называются люди, которые умеют писать стихи. Разве уметь писать стихи и быть поэтом — не одно и то же?

В том-то и дело, что нет.

«Очень легко писать стихи, но очень трудно быть поэтом», — было замечено однажды.

Писать стихи может научиться каждый более или менее грамотный человек. Когда-то было принято писать стихи дамам в альбомы. Это умение было признаком хорошего воспитания, и только. Уметь написать стихи в альбом должен был каждый «воспитанный» молодой человек, точно так же, как каждая «воспитанная» барышня должна была уметь играть на фортепьяно.

Сто с лишним лет назад на Кавказе, в Пятигорске, жила семья генерала Верзилина. У генерала было три дочери.

У младшей, Надежды, как и у многих девушек ее круга, был альбом, куда знакомые молодые люди писали по ее просьбе стихи.

В доме Верзилиных часто бывал молодой офицер, поручик Тенгинского полка Михаил Юрьевич Лермонтов.

Однажды по просьбе юной Надежды Петровны Михаил Юрьевич, или, как звали его у Верзилиных, Мишель, написал ей в альбом небольшое стихотворение:

Надежда Петровна,
Отчего так неровно
Разобран ваш ряд,
И локон небрежный
Над шейкою нежной...
На поясе нож.
C'est un vers qui cloche.

Последняя строчка в переводе с французского языка на русский означает: «Вот стих, который хромает». Итак, Лермонтов сам признавал, что альбомный стишок получился у него не очень складным. Владелице альбома он тоже не понравился. По ее мнению, Мишель написал хуже всех ее знакомых. Она даже не постеснялась чуть-чуть подправить стихотворение. Вместо

Надежда Петровна,
Отчего так неровно...

она сделала:

Надежда Петровна,
Зачем так неровно...

В таком виде стишок выглядел чуть более гладким. Но все равно последняя строка «хромала», и общий приговор гласил, что Мартынов, князь Васильчиков и другие молодые люди, бывавшие у Верзилиных, гораздо лучше Лермонтова умеют писать альбомные стихи.

Все это было в 1841 году. Лермонтов в ту пору уже написал почти все свои стихи, которые составили ему славу одного из величайших поэтов России. Уже была написана и опублико-

вана знаменитая статья Белинского, в которой Лермонтов признавался вторым после Пушкина русским поэтом.

Имя Лермонтова сегодня знает каждый школьник. Имена других знакомых Надежды Петровны Верзилиной мы вспоминаем только потому, что один из них (Мартынов) дрался с Лермонтовым на дуэли, а на другого (князя Васильчикова) Лермонтов написал довольно злую эпиграмму. Нам даже в голову не приходит поинтересоваться их стихами. А строки Лермонтова мы повторяем с благодарностью и заучиваем наизусть.

Итак, уметь писать стихи и быть поэтом не одно и то же.

Что же это такое — быть поэтом? И чем отличается поэт от простого смертного?

Большинство людей, говоря о своих чувствах и мыслях, пользуются готовыми, чужими словами, образами, сравнениями.

Представьте себе, что вам нужно описать в стихах командира, скачущего впереди отряда на белом коне. Описать так, чтобы каждый, кто прочтет ваше описание, представил себе, какой мужественный и смелый человек этот командир, как лихо мчится он на коне и как уверенно конь несет своего седока.

Без сомнения, вам прежде всего захочется, чтобы ваше описание было красивым. Именно поэтому вы напишете что-нибудь вроде: «Со смелостью льва он кинулся в гущу сечи».

По всей видимости, львов вам приходилось видеть не часто. Ну, может быть, раз-другой в цирке, где сонный лев сидел на тумбе, лениво и покорно глядя на хлыст укротителя. Или в клетке зоопарка, где у льва было еще меньше возможностей показать свою смелость. Но так уж принято говорить: «Дрался как лев», «Смелый как лев».

О коне вы, скорее всего, написали бы: «Он мчался как ветер», или: «Быстрый, словно вихрь», или «словно буря». Но уж, во всяком случае, вам не пришлось бы в голову сравнивать коня с сахаром-рафинадом.

А вот как говорит поэт:

Он долину озирает
Командирским взглядом,
Жеребец под ним сверкает
Белым рафинадом.
Жеребец подымет ногу,
Опустит другую,
Будто пробует дорогу,
Дорогу степную.

Вся картина так и стоит перед глазами. И ослепительно яркий солнечный день, и молодецкая посадка командира, и чуткий конь, перебирающий тонкими ногами...

Но только ли тем отличается поэт от простого смертного, что он умеет найти для выражения своих мыслей, чувств, представлений единственные, неповторимые слова и обороты речи?

Нет, не только.

Если привести всего лишь по несколько строк из крупнейших русских поэтов, не называя их имен, каждый любящий стихи человек сразу, не задумываясь, узнает, кому какие строки принадлежат.

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою.
Тобой, одной тобой... Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит — оттого,
Что не любить оно не может.

Невозможно представить себе, чтобы все сказанное в этих восьми строчках можно было передать другими словами. Кажется, что это написалось само, естественно и просто вылилось из-под пера. Эта мудрость, легкая и светлая даже в печали, эта прозрачная ясность чувства безошибочно подсказывают нам: Пушкин.

Я знал одной лишь думы власть —
Одну — но пламенную страсть:
Она, как червь, во мне жила,
Изгрызла душу и сожгла.

Кто не узнает этот водоворот огромной, всепоглощающей страсти, мужественную энергию этих задыхающихся, коротких, стремительных строк! Да, Л е р м о н т о в.

От ликующих, праздно болтающих,
Обагривших руки в крови
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви!

Каждое слово в этом тяжеловатом, неуклюжем четверостишии словно длинный, свистящий бич, который поэт обрушивает на головы ненавистных ему властителей жизни. В каждом слове — ненависть к угнетателям и боль сердца, страдающего от сочувствия угнетенным. Вы угадали — Н е к р а с о в.

Это время гудит
телеграфной струной,
это
сердце
с правдой вдвоем.
Это было
с бойцами
или страной,
или
в сердце
было
в моем.

Ведь правда же, вы сразу узнали этот голос, голос человека, считавшего, что все происходящее с его страной происходит в его сердце? Ну конечно — М а я к о в с к и й.

Бывают на свете и другие стихи: похожие на человека, с которым вас познакомили много раз, а вы так и не научились узнавать его при встрече. Но стоит только раз соприкоснуться с подлинным поэтом, и ты уже не ошибешься, не спутаешь его лица ни с каким другим. Поэт входит в твою жизнь как очень близкий тебе человек.

В «Войне и мире» Наташа Ростова, ставшая женой Пьера Безухова, краем уха слышит спор мужа с друзьями. Спор идет о вещах весьма запутанных и сложных.

«Наташа,— пишет Толстой,— в середине разговора вошедшая в комнату, радостно смотрела на мужа. Она не радовалась тому, что он говорил. Это даже не интересовало ее, потому что ей казалось, что все это было чрезвычайно просто и что она все это давно знала».

И в скобках, как о чем-то само собой разумеющемся, Толстой замечает: «...(ей казалось это потому, что она знала все то, из чего это выходило, — всю душу Пьера)».

В наших взаимоотношениях с любимыми поэтами есть нечто похожее на отношение Наташи к Пьеру. Мы можем совсем не знать биографию поэта, подробности и частные обстоятельства его жизни. Мы можем не знать, что он говорил и что думал по тем или иным вопросам жизни, политики, искусства. Но, если мы знаем его стихи, мы знаем про него самое главное: знаем, что он за человек. И мы уже никогда не ошибемся в ответе на вопрос: а как поступил бы в этом случае Лермонтов, а что подумал бы об этом Маяковский?

Мы знаем о поэте самое главное: знаем, как говорили в старину, душу его, запечатленную в стихах. И когда мы сразу и безошибочно угадываем, что вот эти стихи написал Пушкин, а те Маяковский, то происходит это не потому, что ритм Маяковского резко отличается от пушкинского, и не потому, что у Маяковского другие, ни на кого не похожие рифмы. Это происходит прежде всего потому, что мы узнаем неповторимое, только этому человеку присущее движение души.

Вы скажете мне на это: но ведь ритм стихов Маяковского действительно резко отличается от пушкинского, и рифмы у него действительно другие, совсем особенные! Ведь не зря же все говорят о том, что Маяковский был поэтом-новатором.

Да, все это так. Но стихи у Маяковского особенные, не похожие на стихи всех его предшественников не потому, что он сознательно к этому стремился. Они не похожи потому, что он сам был не похожим на них, человеком другой эпохи. Именно для того, чтобы выразить эту свою непохожесть, ему и понадобились не похожие на все прежние ритмы и рифмы.

Сережа, стихи которого прислала в редакцию Люда Семенова, написал первое или второе в своей жизни стихотворение. Когда он писал его, он был озабочен только тем, чтобы стихотворение получилось как можно больше похожим на стихи вообще, то есть на все другие стихи, которые доводилось ему читать.

Более опытные стихотворцы озабочены главным образом тем, чтобы их стихи были не похожими на другие.

Настоящий поэт не думает ни о том, ни о другом. У него есть только одно стремление: остаться в стихах самим собой. И если это ему удастся, то дело сделано. Все остальное уже зависит от того, что он за человек. Ведь, если стихи настоящие, в них нельзя солгать, нельзя притвориться, что ты лучше, чем ты есть на самом деле.

Впрочем, это относится не только к стихам.

Есть рассказ про Гайдара и одного самонадеянного мальчика. Мальчик сказал Гайдару, что он мечтает стать писателем и уже сейчас сам пишет рассказы.

— Вот и хорошо! — сказал Гайдар. — Давай вместе напишем рассказ.

Мальчик был счастлив.

— А как мы будем писать вместе? — спросил он.

— Очень просто: ты напишешь первую фразу, а я вторую. Ну вот, начинай!

Мальчик подумал и написал первую фразу: «Путешественники вышли из города...»

— Теперь вы! — сказал он Гайдару.

Но Гайдар сказал:

— погоди. Вот завтра утром выйдем из города, и тогда станет ясно, какая будет вторая фраза в нашем рассказе.

Утром они встали, умылись, собрались и пошли. Час идут, другой. Мальчик устал.

— Аркадий Петрович, — говорит он, — может, мы сядем в автобус? У меня есть деньги.

— У меня тоже есть деньги, — отвечает Гайдар, — только

деньги нам тут не помогут. Вот если б мы с тобой написали: «Путешественники выехали из города на автобусе», — тогда дело другое. А уж раз написали: «Вышли из города», — ничего не поделаешь, придется идти пешком!

Они шли долго. Уже начались окраины города с деревянными домами. Мальчик совсем выбился из сил. Но Гайдар был непреклонен. Так и не написали они этот рассказ. Но мальчик этот, наверное, навсегда понял, что за каждым словом писателя стоит поступок или готовность этот поступок совершить, что за книги свои писатель отвечает жизнью.

Когда Николай I подавил восстание декабристов, он послал фельдъегеря в село Михайловское за Пушкиным. Поэта привезли из ссылки прямо во дворец.

— Если бы ты был свободен, где бы ты был четырнадцатого декабря? — спросил царь.

Пушкин отвечал, не задумываясь:

— Я был бы с моими друзьями на Сенатской площади...

А ему дорого мог стоять такой ответ.

Вероятно, можно было уклониться от прямого ответа. Нет, не лгать, а просто не говорить в глаза царю всю правду, оставаясь при этом честным человеком, не предав своих убеждений. Но поэт, написавший «Пока свободою горим...» и оду «Вольность», не мог ответить иначе, а человек, ответивший иначе, не мог бы писать такие стихи.

Писатель-прозаик выбирает себе героя. Поэт говорит в стихах о себе. Поэтому ему самому приходится быть героем. А иначе какой он поэт! Может быть, и это имел в виду человек, который сказал: «Легко писать стихи, но очень трудно быть поэтом».



РИФМУЕТСЯ С ПРАВДОЙ...

1

Человек растет. С каждым месяцем, с каждой неделей меняется его отношение к вещам, которые его окружают.

Вот шестилетний Сережа из повести Веры Пановой мечтает, чтобы ему купили двухколесный велосипед:

«Настоящий велосипед со спицами, со звонком, рулем, колесами, кожаным седлом и маленьким красным фонариком! И даже у него был сзади номер на железной дощечке — черные цифры на желтой дощечке!

...Сережа смотрел почти с испугом, приоткрыв рот, коротко дыша, едва веря, что все эти сокровища будут принадлежать ему».

Но прошел месяц. Всего только один месяц.

«Сережа здорово научился ездить, научился даже съезжать с горки, бросив руль и сложив руки на груди, как — видел он — делал один ученый велосипедист. Но почему-то уже не было у Сережи того счастья обладания, того восторга взאהб, как в первые блаженные часы...

А там и надоел ему велосипед. Стоял в кухне со своим красным фонариком и серебряным звонком, красивый и исправный, а Сережа пешком отправлялся по делам, равнодушный к его красоте: надоело, и все, что ж тут сделаешь».

Ничего тут не сделаешь, потому что человек растет. Он вырастает из своей одежды, из своей комнаты, из своего переулка. Он приезжает после летних каникул, и школьный двор, который еще так недавно казался ему целым миром, таинственным и незнакомым, теперь — просто-напросто самый обыкновенный двор, изученный и обжитый. Кубики, конструктор, игрушечный заводной самосвал, вещи, еще недавно имевшие для него огромную ценность, теперь вызывают лишь снисходительную улыбку. Ему смешно: неужели эти игрушки еще недавно могли его интересовать? Какие пустяки! Он уже большой. Он вырос. До них ли ему...

Точно так же бывает с иными детскими книжками.

Когда-то ты плакал, когда тебе читали о злоключениях героя. Ты счастливо смеялся его удачам. Но вот прошло несколько лет. Ты уже прочел другие книги. И случайно тебе попала в руки та, давнишняя, детская. Ты улыбаешься: какими наивными, глупыми кажутся тебе твои вчерашние слезы и смех...

Так бывает часто. Но не всегда.

Я очень хорошо помню, как в детстве мне читали «Сказку о глупом мышонке» Маршака. Мне читали ее не в первый раз, я уже знал заранее о предстоящем печальном конце. Но всякий раз, когда доходило до того, как мышка-мать приглашала в няньки к мышонку кошку, снова и снова к горлу моему подкатывали слезы.

Сейчас, перечитывая эту старую сказку Маршака, я не реву в голос. И не плачу втихомолку. Но я не стыжусь своих дет-

ских слез, они не кажутся мне смешными и наивными. По правде сказать, мне и сейчас жаль глупого мышонка, отвергнувшего добрую тетю лошадь и поверившего лицемерной кошке. Мне жаль его, и всякий раз, когда я дохожу до последних строк, меня начинает тревожить тоскливое чувство, очень похожее на то, которое в детстве вызывало у меня слезы.

Прошло тридцать лет. А я все еще не вырос из этой сказки, как не вырос из «Детства Никиты» Алексея Толстого, из «Школы» Гайдара, из «Детства Темы» Гарина.

Почему это так? И почему так бывает не со всякими детскими книжками, а лишь с некоторыми, с немногими?

Очень просто. Почему человека перестает интересовать игрушечный самосвал? Да потому, что он проникся сознанием, что самосвал не настоящий. А он уже вступил в тот возраст, когда ему интереснее смотреть на настоящий, чем наслаждаться всей полнотой обладания игрушечным.

Стихи Маршака — настоящие.

Но разве бывают ненастоящие стихи? И, если бывают, чем отличаются они от настоящих?

2

Вот книжка. На первой странице — мальчик и девочка, аккуратно причесанные, с тщательно отглаженными галстучками. Они обмениваются аккуратными, вежливыми фразами:

— Шура, ты пойдешь сегодня гулять?

— Да, я скоро пойду гулять...

Как звучал бы этот разговор, если бы он происходил не в книжке, а на самом деле? Я думаю, приблизительно вот так:

— Шурка!.. Выходи-и!..

— Сича-ас!..

Конечно, совсем неплохо, если дети называют друг друга вежливо: «Шура», а не «Шурка»... Но почему-то, прочитав такой вежливый разговор, вы невольно почувствуете: «Так не бывает». И доверия к этой книжке у вас уже не будет. Хотя

все, что рассказано в ней, вполне могло бы произойти и, наоборот, даже не раз происходило с вами или вашими приятелями.

А вот в книге Алексея Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино» происходят вещи неправдоподобные, неслыханные. Где это видано, чтобы деревянный человечек, которого только что вырезали из обыкновенного полена, показывал язык, говорил, бегал? И тем не менее, когда вы читаете про все эти удивительные дела, вам ни на секунду не приходит в голову, что «так не бывает». Потому что мысли, и слова, и поступки, и чувства игрушечных деревянных человечков настоящие, не игрушечные. Как самый обыкновенный мальчишка, Буратино ленится, не хочет учить уроки и чистить зубы, обещает быть хорошим и не умеет выполнить своего обещания. Как самый обыкновенный мальчишка, на вопрос: «Предположим, что у вас в кармане два яблока. Некто взял у вас одно яблоко, сколько у вас осталось яблок? — он отвечает:

— Два.

— Почему?

— Я же не отдам же Некту яблоко, хоть он дерись!»

И поэтому вы верите в существование этого выдуманного героя. Верите, как если бы он был настоящим, живым, хорошо вам знакомым мальчишкой.

А в плохих книжках все наоборот. Мысли, слова, поступки, чувства героев — ненастоящие, игрушечные... Поэтому и сами герои все на одно лицо, словно вдруг ожили и задвигались, заговорили прилизанные мальчики и девочки, нарисованные на картинках в букваре.

3

Давным-давно, еще смолodu, Маршак выбрал себе двух учителей. Одним из них был Александр Сергеевич Пушкин. Но об этом позже. А самым первым, самым главным его учителем были дети.

Казалось бы, это звучит не очень правдоподобно. В самом деле, как это может быть, чтобы сложному и трудному своему искусству поэт учился у детей? А вот представьте, учился.

Есть у Маршака одно маленькое стихотворение. Оно, правда, написано для взрослых. Но, если вы хотите понять, в чем главный секрет настоящей поэзии, вдумайтесь как следует в эти строки:

Когда вы долго слушаете споры
О старых рифмах и созвучьях новых,
О вольных и классических размерах, —
Приятно вдруг услышать за окном
Живую речь без рифмы и размера,
Простую речь: — А скоро будет дождь!

Слова, что бегло произнес прохожий,
Не меж собой рифмуются, а с правдой —
С дождем, который скоро про шумит.

Маршак много размышлял в своей жизни о том, каким должен быть размер, и о том, какими должны быть рифмы в стихах, написанных для детей. Но давным-давно он понял главное: слова в стихах должны во что бы то ни стало «рифмоватьсЯ с правдой». Если стихи о дожде, — с холодными и звонкими каплями дождя. Если они об игре в мяч, — с гулким хлопаньем мяча о мостовую, со стуком маленькой и крепкой мальчишеской ладони:

— Мой веселый, звонкий мяч, ты куда помчался вскачь?.. Я тебя ладонью хлопал. Ты скакал и звонко топал. Ты пятнадцать раз подряд прыгал в угол и назад. А потом ты покатился и назад не воротился. Покатился в огород, докатился до ворот, подкатился под ворота, добежал до поворота, там попал под колесо. Лопнул, хлопнул — вот и все!

А вот еще несколько строк из другого стихотворения:

Раз, два —
По полену.
Три, четыре —
По колену.

По полену,
По колену,
А потом
Врубился в стену.
Топорище — пополам,
А на лбу остался шрам.

Никак нельзя сказать, что автор этих стихов мало думал о том, каким ему писать размером. Недаром ритм, быстрое, учащенное дыхание этого стиха так напоминает любимые детские считалочки:

Шла кукушка
Мимо сети,
А за нею
Малы дети
И кричат:
— Кук-мак!
Убирай
Один
Кулак!

И ритм, и рифмы — все здесь расчетливо подобрано, крепко подогнано опытной, умелой рукой. Но настоящей поэзией эти стихи Маршака делает то, что слова в них рифмуются не только «меж собой». Они «рифмуются с правдой». Со свежим запахом только что расколотого березового полена, со звонким стуком топора, с веселой растерянностью незадачливого мастера-ломастера.

Маршак не зря прислушивался к ритму детских считалочек. Видно, неспроста эти нелепицы, часто лишенные всякого смысла сочетания слов, не стареют, живут десятки, а то и сотни лет, умудряясь пережить многие, далеко не бессмысленные стихи, написанные настоящими поэтами. Наверное, в самой природе этих считалок есть что-то очень близкое ребятам. Не случайно так часто стихи Маршака начинаются как считалки.

Раз, два, три, четыре,
Начинается рассказ —
В сто тринадцатой квартире
Великан живет у нас...

И совсем уж не случайно его стихи, даже те, которые ничуть не похожи на считалки, взяли у детских считалочек свой веселый, легкий, задорный ритм. Ритм, в который так и хочется окунуться, который освежает как сильный, чистый, холодный душ:

По Бобкин-стрит, по Бобкин-стрит
Шагает быстро мистер Смит
В почтовой синей кепке,
А сам он вроде щепки...

И свое умение видеть предмет, который он описывает, Маршак тоже взял у детей. Разве взрослый человек решится так описать человека: «А сам он вроде щепки...»

Друг и сверстник Маршака, герой его стихотворения «Почта», замечательный детский писатель Борис Житков восхищался детскими рисунками. Он говорил, что каждый человек в детстве замечательно умел рисовать, потому что «знал, что главное. И всегда с главного начинал».

«Он рисовал штык, а потом к нему пририсовывал солдата. Штык был вдвое выше солдата и всегда острый. Солдат всякого убьет штыком...

Нарисовал дом, трубу, а из трубы дым. Если в трубу не проходит дым, это не труба, а тумба. И всегда спрашивал: «Кто здесь главный?» А споров сколько у детей: «кто главнее?», «что главнее?»... Художники ахают над детскими рисунками: «Гениально! Потрясающе! Скажите, откуда они, шельмецы, всё знают?» А шельмецы знают одно: что надо ему изобразить главное, а остальное — к главному пририсовать, и то лишь для пользы главного.

В быке для них главное рога. С рог и начинают...»

Это умение увидеть в предмете самое главное проявляется не только в детском рисунке. Одну маленькую девочку попросили описать море. Она написала: «Море было большое».

Антон Павлович Чехов, который знал толк в писательском искусстве, говорил, что это самое великолепное описание моря, какое ему когда-либо приходилось читать.

Стихотворные строки Маршака часто бывают похожи вот на это описание моря. Его стихи, поэмы, сказки хорошо было бы иллюстрировать рисунками детей. Вот, например:

Плывет пароход по зеленым волнам,
Плывет пароход из Америки к нам...

Так и видишь рисунок, на котором нарисованы крупно, каракулями, бурные волны и огромный, во весь лист, пароход... И ничего больше. Совсем как в детской песенке: «Синее море, белый пароход...»

Но, как я уже говорил, не только у детей учился Маршак. Помимо детской песенки и детского рисунка, строки Маршака о зеленых волнах и о пароходе сразу же заставляют вспомнить строки другого поэта:

В синем небе звезды блещут,
В синем море волны хлещут;
Туча по небу идет,
Бочка по морю плывет...

Тоже как детский рисунок: крупно, во весь лист — туча, одна-единственная огромная туча на все небо, и так же крупно, во весь лист — бочка, одна-единственная на все море.

Вы, конечно, сразу узнали, откуда эти строки и кому они принадлежат? Пушкин. «Сказка о царе Салтане».

4

Читая Пушкина, особенно хорошо понимаешь смысл слов Маршака «о старых рифмах и созвучьях новых»:

И послушалась волна:
Тут же на берег она
Бочку вынесла легонько
И отхлынула тихонько...

Если спросить у знатоков, хороша ли рифма «легонько — тихонько», знатоки наверняка ответят, что рифма эта очень

примитивна, что рифмовать так — стыдно, что это почти то же самое, что рифмовать слова одного корня, например «ушел» и «пришел».

А теперь забудьте о рифмах и просто вслушайтесь в эти строки. Ведь правда же, вы отчетливо слышите и тихий плеск воды, и скрип досок, и шуршанье мокрой гальки о днище бочки? Словно вы не в книжке прочли про это. Словно все это было взаправду, и было с вами. Словно это вы сами сидели в бочке и умоляли волну смириться, и это вас послушалась волна, и вы почувствовали, как бурные, черные волны стали вдруг прозрачными, ласковыми, светло-синими и бережно вынесли бочку на низкий берег, и вы, еще секунду назад считая себя погибшими, вдруг поняли: «Спасены!»

А вот еще несколько строк из той же сказки:

Сын на ножки поднялся,
В дно головкой уперся,
Понатужился немножко:
«Как бы здесь на двор окошко
Нам проделать?» — молвил он,
Вышиб дно и вышел вон.

Как мускулисты, энергичны эти строки! Здесь что ни слово, то действие, поступок. И энергия стиха прямо-таки заставляет каждого читателя самого ощутить то усилие, которое совершил князь Гвидон, чтобы выйти из наглухо заколоченной бочки.

Этой стремительной энергии стиха тоже учился у Пушкина Маршак:

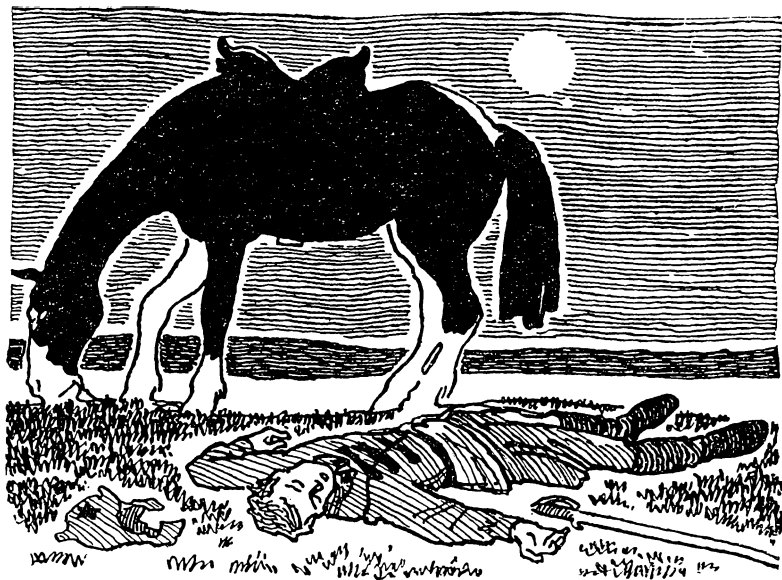
Взял мороженщик лепешку,
Всполоснул большую ложку,
Ложку в банку окунул,
Мягкий шарик зачерпнул,
По краям пригладил ложкой
И накрыл другой лепешкой...

И здесь, что ни строка — то действие, поступок: взял, всполоснул, окунул, зачерпнул, пригладил, накрыл.

Все слова — глаголы. Все отвечают на вопрос «что сделал?». И ни одного прилагательного или наречия. Ни одного слова, отвечающего на вопрос «как?».

В самом деле, а как зачерпнул? Быстро или медленно? Умело или неуклюже? Об этом не сказано. Вернее, не сказано прямо, словами. Но разве можно по-другому, лучше, чем этими шестью строчками, передать, как быстро и ловко орудует мороженщик своей большой ложкой?..

Вот тем-то и отличаются настоящие стихи от ненастоящих. В том-то и состоит смысл этих странных, на первый взгляд, таких непонятных слов: «рифмуется с правдой».



БИОГРАФИЯ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ

Да, и у стихотворения есть своя биография.

Как у человека, она может быть веселой и печальной, богатой событиями и обыкновенной, будничной. Но бывают люди, в жизни которых как будто не было ничего выдающегося — просто жил человек жизнью своего народа: когда все учились — он учился, когда все строили — он тоже строил, когда все воевали — он воевал.

О таких людях говорят: «Хорошая у него биография!»

Вот и у стихотворения, о котором пойдет речь в этом рассказе, биография тоже хорошая. Но, кроме того, она еще и счастливая. Если бы это было не стихотворение, а человек, о нем можно было бы сказать, что он родился под счастливой

звездой. Начать с того, что метрику — первую путевку в жизнь — ему выдал...

Но об этом, пожалуй, стоит рассказать подробнее.

1

В афишах, расклеенных по городу, бросалось в глаза выделенное крупными буквами одно длинное слово:

МАЯКОВСКИЙ!

Говорили о знаменитом поэте по-разному.

— Пишет непонятно, но остроумный...

— Да, здоровенная глотка!

— А как на записки отвечает! Так и кроет!

— Реклама! Нахальством только и берет...

Одни горячо доказывали, что Маяковский — великий поэт, что стихи его замечательны, необыкновенны.

Другие пожимали плечами:

— Никакой он не поэт, просто хорошо читает...

Одни уверяли, что все поэты признают Маяковского своим вождем.

Другие усмехались:

— Зато он сам никого, кроме себя, не признает.

Но на вечер Маяковского мечтали попасть все: влюбленные в поэзию и никогда не прочитавшие ни одного стихотворения, спокойные доброжелатели и насмешливые скептики, ярые приверженцы и ярые враги. Все хотели своими глазами увидеть этого необыкновенного человека, которому сопутствовала такая шумная и яркая слава. Все хотели услышать, как он читает свои стихи, о которых даже люди, не любящие их, говорят, что они не похожи ни на какие другие стихи в мире.

И вот он стоит на эстраде, опираясь крупной рукой о стол. Большой, ярко освещенный. Темные волосы. Тяжелые, усталые губы. Тяжелый взгляд больших, словно исподлобья глядящих глаз. Сцена вместительного зала не кажется слишком большой для него, хотя на огромном ее пространстве он один.

Из зала несутся выкрики — приветственные, насмешливые, негодующие. Он молча обводит глазами ряды, и под его взглядом зал постепенно стихает. Маяковский начинает свой обещанный в афишах «Разговор-доклад». И, хотя говорит только он, а зал слушает, это действительно не простой доклад. Это разговор.

Вот он пошутил, усмехнулся, и сидящие в зале невольно улыбаются тоже, сочувственно ищут друг друга глазами. Вот он снова нахмурился, и зал притих, напряженно вслушиваясь в его слова.

Внезапно из зала раздается:

— Маяковский, почему вы такой грубый? Всегда вы ругаете всех поэтов. Вот Безыменского, например...

— Почему я такой грубый? — переспрашивает он. И отвечает: — Это все равно, что спросить у паровоза: «Почему вы такой черный?» — И потом, помедлив немного: — Безыменского я действительно часто ругаю. Вот, например, есть у него такое стихотворение... — Он снова медлит, припоминая, и вдруг роняет в зал: — Безыменский! Ведь вы знаете, о каком стихотворении я говорю? Прочтите!

В зале встает поэт Безыменский, послушно идет на сцену и читает злополучное стихотворение.

— Вот видите? — говорит Маяковский, когда стихотворение дочитано до конца. — Вы говорите, не ругать его... А он рифмует: «Свисток — серп и молоток». Разве можно так писать? — обращается он к Безыменскому. — Ну, а если б у вас там рифмовалась пушка, вы бы написали: «серп и молотушка»?..

Все с нетерпением ждут, когда же Маяковский начнет читать свои стихи.

— Прочтите «Левый марш»! — несется из зала.

— О Ленине прочитайте...

— «Есенину»!

Маяковский чуть склонился над столиком, перелистывая какую-то небольшую книжку.

— Сегодня я не буду читать своих стихов! — сказал он внезапно. — Молодой пролетарский поэт Миша Светлов написал очень хорошее стихотворение. Оно называется «Гренада». Вот его я вам сейчас и прочту...

Резким движением головы он откинул со лба темную прядь волос, и в притихшем зале впервые прозвучали слова, которые потом положат на музыку, будут перечитывать, повторять и заучивать наизусть:

Мы ехали шагом,
Мы мчались в боях,
И «Яблочко»-песню
Держали в зубах...

Но песню иную,
О дальней земле,
Возил мой приятель
С собою в седле.

Он пел, озирая
Родные края:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!»

Держа книгу в руке, но почти не глядя в нее, Маяковский читал:

Красивое имя,
Высокая честь —
Гренадская волость
В Испании есть!
Я хату покинул,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать.
Прощайте, родные!
Прощайте, семья!
Гренада, Гренада,
Гренада моя!..

Только раз чуть дрогнул его голос. Это было, когда он читал строки, рассказывающие о том, как убили молодого красноармейца:

Пробитое тело
Наземь сползло,
Товарищ впервые
Оставил седло.
Я видел: над трупом
Склонилась луна,
И мертвые губы
Шепнули: «Грена...»

И вдруг он улыбнулся, и от этой улыбки лицо его сбросило свою тяжесть, стало добрым и застенчивым:

Новые песни
Придумала жизнь...
Не надо, ребята,
О песне тужить.
Не надо, не надо,
Не надо, друзья...
Гренада, Гренада,
Гренада моя!

Гулко били друг о друга тяжелые ладони. Долго не смолкали горячие, возбужденные голоса:

- Владимир Владимирович, еще!..
- Прочтите что-нибудь свое...
- Про Америку почитайте...

Но, как ни кричали, как его ни упрашивали, в тот вечер Маяковский никаких стихов больше не читал.

2

У Маяковского никогда не было никаких чинов и званий, он никогда не занимал никаких официальных должностей: не был он ни председателем, ни секретарем Союза писателей. Но ему всегда было дело до того, что пишут другие поэты. Он мог прийти в ярость от чьей-нибудь бездарной, халтурной строки. И он радовался удаче молодого поэта Михаила Светлова так, как будто эта удача была его собственной. Да так

оно, в сущности, и было. Каждая удача молодой советской литературы, как, впрочем, всякое радостное событие в жизни молодой Советской республики, была его личной удачей и радостью.

В его нежелании читать после «Гренады» свои стихи сказалось и это, и уважение большого мастера к труду младшего своего товарища по поэтической работе.

Но было здесь еще и другое.

Маяковский только вернулся тогда из своих заграничных поездок. Он исколесил почти всю Европу, побывал в Америке.

О чем рассказывал он тогда в своих «разговорах-докладах»? Какие стихи читал?

Все, кому довелось в эти годы побывать хоть на одном вечере Маяковского, вспоминали потом, что именно там, слушая его рассказы о заграничных поездках, его стихи, с беспощадной и неумолимой силой ощутили они простую мысль: два мира есть на земле, и они, сидящие в зале, — частица того огромного «мы», о котором поется в песне: «Мы наш, мы новый мир построим...»

Конечно, эта мысль была известна им и раньше. Они много раз слышали об этом на собраниях и митингах, читали в газетах и книгах. Но только тут они ощутили ее сердцем, всем существом своим, как говорил Маяковский — «всеми порами».

Эта мысль выпирала из каждого рассказанного им факта, билась в каждой прочитанной им стихотворной строке. Он говорил о братском единстве рабочих всех стран, и в подтверждение этих слов звучали его стихи о том, как бастующие транспортники Лейпцига сами вызвались разгружать состав, пришедший из Советского Союза, или стихи о том, как «моргнул многозначаче глаз носильщика», готового по первому зову помочь обладателю красного советского паспорта.

Но дело тут было даже не в том, что Маяковский подкреплял мысль фактами, что в его передаче она обрастала подробностями, свидетельствами очевидца. Казалось, само присутствие этого человека заставляло увидеть мир по-другому. Он

заражал слушателей своим гневом и своей нежностью, своей яростью и своей болью.

Когда Маяковский читал свои стихи, казалось, что это не он, а ты сам проходил у подножия нью-йоркских небоскребов, мерил шагами асфальт парижских площадей, озабоченно прикидывая:

Да надо
 быть
 бережливым тут,
ядром
 чего
 не попортить,
в особенности,
 если пойдут
громить
 префектуру
 напротив.

И вот вместо всех этих стихов Маяковский прочел другие стихи, другого поэта, рассказывающие как будто совсем о другом.

О другом?

Ну конечно, нет! Стихотворение Светлова о мечтательном пареньке, который пошел воевать с белыми, «чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать», говорило о том же. О том же, о чем твердили плакаты, открытки и крошечные марки МОПР, где сжатый кулак и тюремная решетка. О том, о чем пелось в песне:

Товарищи в тюрьмах,
В застенках холодных,
Вы с нами, мы с вами,
Хоть нет вас в колоннах!

О том, что не для России только, а для всего мира красной ракетой взвилось осенней петроградской ночью семнадцатого года

Октябрьское,
 руганое и пропетое,
пробитое пулями
 знамя!

«Меньше чем на мировую революцию мы не соглашались», — вспоминал много лет спустя Михаил Светлов о днях своей юности, о том, чем жили в двадцатые годы люди его поколения, поколения первых комсомольцев.

Этой неистребимой юношеской верой в близкое торжество мировой революции, этим дыханием своего времени от первой до последней строки пронизана светловская «Гренада».

3

Сколько поэтов воспевали Гренаду!

Это название не очень большого города и совсем небольшой провинции не случайно стало таким знаменитым. Произошло это не только потому, что над Гренадой стоит старинный дворец мавров — всемирно известная Альгамбра.

С представлением о чужой стране, о чужом народе люди часто связывают случайные, поверхностные, а иногда и вовсе неправильные суждения. Так издавна повелось, что французы веселы и легкомысленны, англичане надменны, сухи и чудаковаты. Россия — это мороз, снег, леса, волки и медведи. Испания — бой быков, тореадоры, гитары и кастаньеты.

Гренада была столицей этой ненастоящей, выдуманной Испании.

Гренада — это цыганка с розой в волосах, это сады Альгамбры, это танцы при лунном свете под звон бубна и шелканье кастаньет.

А между тем настоящая Гранада (так правильно произносится это испанское слово) так же мало похожа на эту, как настоящая Испания — Испания выжженных солнцем горных плато и нищих деревушек, отделенных друг от друга суровыми перевалами, — на оперную Испанию тореадоров и кастаньет.

Герой стихотворения Светлова, мечтатель-хохол, которому полюбилась песня про далекую Гренаду, мало что знал и про ту и про другую Испанию. Но для него Гренада — это не про-

сто «красивое имя». Для него — это «волость в Испании». И, конечно же, в этих двух строчках:

Гренадская волость
В Испании есть... —

в тысячу раз больше правды о настоящей Гренаде, чем в тех стихах и романах, в которых, как хорошо сказал один писатель, бушуют «испанские страсти», а «Гренада» неизменно рифмуется со словом «серенада».

Настоящая Гренада — это поля и горы. Это огромные поместья и нищие поселения. Это безземельные крестьяне и батраки, умирающие с голоду.

В ту пору, когда Светлов написал свое стихотворение, крестьяне провинции Гренада не могли и мечтать о земле. Испанией тогда правил король, и земля была священной собственностью помещиков — сеньоров. Но спустя десять лет, весной 1936 года, в Испании начались события, к которым надолго было приковано внимание всего мира. И стихотворению Светлова довелось сыграть в этих событиях свою роль.

4

В Испании произошла революция. Власть короля была свергнута. Победил Народный фронт.

Но у молодой Испанской республики было много врагов. Те, кто боялся, что народ, разбуженный революцией, сметет своих угнетателей, готовы были на все, чтобы установить в стране фашистскую диктатуру. Они знали, что им самим не справиться со своим народом, и призвали на помощь все темные силы Европы.

Так вспыхнул контрреволюционный мятеж генерала Франко.

За несколько месяцев до мятежа советский писатель Илья Эренбург выступал на антифашистском митинге в Париже. Взволнованно говоря о событиях, назревающих в Испании, он прочел собравшимся светловскую «Гренаду», тут же переводя

ее на французский язык. Он закончил свое выступление словами:

«Над Гренадской волостью нависла опасность! Враг приближается. Бейте тревогу! К оружию, граждане!»

Призыв этот оказался очень своевременным.

Вскоре сильнейшее фашистское государство — гитлеровская Германия вместе с Италией Муссолини обрушила на испанский народ всю мощь своей военной машины.

Казалось, дни Испанской республики были сочтены.

И тут случилось то, чего не предвидели ни испанские фашисты, ни их германские и итальянские покровители.

Из всех стран мира, прорываясь сквозь все преграды, поехали в Испанию коммунисты, революционеры, просто честные люди разных национальностей, чтобы с оружием в руках бок о бок с испанцами защищать свободу испанского народа.

Оказалось, что герой стихотворения Светлова не был одиноким в своей мечте. В каждой стране есть немало людей, готовых бросить родной дом и уйти сражаться за то, чтобы земля в далекой Гренаде принадлежала крестьянам.

Испания пела в те дни слова светловской «Гренады», переложенной на испанский язык:

Гранада, Гранада,
Гранада моя...

Но тут начинается еще одна, совсем новая страница биографии этого стихотворения. Страница, связанная с жизнью и смертью человека, имя которого...

Впрочем, об этом человеке, пожалуй, тоже стоит рассказать подробнее.

5

Это было осенью 1936 года.

Еще недавно знакомая только по книгам и учебникам географии, Испания была в те дни здесь, у нас в СССР, на каждом шагу. Дети носили синенькие пилотки с кисточками—

их называли «испанки». Взрослые подолгу простаивали у газетных стендов, хмуро вглядываясь в первые военные сводки с «мадридского фронта». И дети и взрослые повторяли два коротких испанских слова: «Но пасаран!» И не было человека, который не знал бы, что эти слова означают: «Не пройдут!», что «не пройдут» фашисты, солдаты Гитлера и Муссолини, в Мадрид — сердце сражающейся Испанской республики.

Итак, осень 1936 года.

В уютной комнате большого московского дома сидят двое — гость и хозяин. Уже поздно, гость собирается уходить. Хозяин, небольшого роста, плотный, широкоплечий человек, кладет руку ему на плечо:

— Подожди, посиди немного. Кто знает, когда еще мы с тобой увидимся.

— Что это вдруг? Кто помешает нам увидеться завтра или послезавтра?

— Я сегодня уезжаю...

— Уезжаешь? Сегодня?.. Куда?!

— Сейчас в Ленинград. Потом... дальше.

Неторопливым, спокойным жестом он достает из бокового кармана пиджака кожаный бумажник, вынимает оттуда красную книжицу и протягивает ее товарищу. Тот разглядывает ее, недоумевая: заграничный паспорт... С фотографии на него смотрит такое знакомое лицо собеседника, а рядом — чужое, незнакомое имя: «Пауль Лукач, коммерсант...»

— Пауль Лукач? Кто это?

— Это я.

Хозяин улыбается. Темные усы оттеняют ослепительную белизну его зубов. И, внезапно став серьезным, он говорит вполголоса:

— Я еду туда...

А через несколько месяцев уже на весь мир гремело имя генерала Лукача.

В газетах упоминались все новые и новые места боев: Касадель Кампо, Сиерро-рохо, Харама, Гвадалахара — названия

городов и населенных пунктов, под которыми солдаты Лукача держали оборону и поднимались в контратаки.

Бойцы 12-й интернациональной бригады, которой он командовал, говорили, что сама смерть испуганно отступает перед храбростью этого человека. Испанские крестьяне любовно называли его «генерал Популлер» — генерал народа.

В бою под Уэской он был смертельно ранен. Осколок вражеского снаряда попал ему в голову. И тогда только стало известно, кем был на самом деле легендарный генерал Лукач. Все узнали, что под этим именем поехал в Испанию сражаться с фашизмом и погиб венгерский писатель Мате Залка.

6

Есть писатели, после которых, кроме всех написанных ими книг, остается еще одна, ненаписанная, самая лучшая книга — их жизнь. Такими писателями были Николай Островский, Юлиус Фучик. Таким был и Мате Залка.

Он родился в маленьком венгерском селе на берегу Тиссы. Ему было семнадцать лет, когда в столичном журнале был напечатан его первый рассказ.

Он уже всерьез считал себя писателем и думал, что дальнейшая его судьба решена. Но отец не допускал никаких нарушений порядков, установленных старинным провинциальным укладом жизни.

— Я надеюсь, — сказал он, — что мой сын выберет себе другую профессию. Предлагаю тебе немедленно отбыть год военной службы в том полку, в котором служил я сам.

Так юноша, голова которого была забита наивными мечтами о литературном успехе, попадает в гусарский полк и на долгие годы прощается с литературой. Он утешает себя: пройдет год, он сбросит гусарский мундир, поступит в университет... Но все случилось совсем иначе. Жизнь приготовила ему другие университеты.

Началась мировая война, и в августе 1914 года Мате Залка

отправляется сначала на сербский, потом на итальянский, а потом на русский фронт.

Он не опозорил славы «красных дьяволов», как называли венгерских гусар. Вскоре на его погонах — офицерская звездочка, а на груди — медали за храбрость. Но тут в его жизни происходит событие, определившее всю его дальнейшую судьбу.

В 1916 году, во время прорыва фронта русскими войсками, Залка был взят в плен. Двадцатилетний офицер, румяный и круглолицый, он попадает в Сибирь, в глазах европейца — самое дикое и страшное место на земном шаре. После солнечной, зеленой Венгрии — угрюмые бараки, окруженные колючей проволокой, грязь, часовые...

Впрочем, офицерам в плену было не так уж плохо. Но Мате Залка не захотел пользоваться преимуществами, которые ему давало офицерское звание. Он порвал с офицерами и перешел жить в солдатские бараки. Наравне с солдатами хотел он делить все тяготы плена.

Здесь, в лагерях военнопленных, юноша Мате Залка получил первые уроки революционной борьбы.

«Тут были мои университеты, — с улыбкой вспоминал он потом. — Правда, холодные университеты, но учили там хорошо».

Один из героев романа Николая Островского «Рожденные бурей» рассказывает, как в 1917 году в русском плену поднял пленных «отчаянный парень — венгерец лейтенант Шайно»:

«...Он нам прямо сказал: «Расшибай, братва, склады, забирай продукты и обмундирование!» Мы так и сделали. Но большевистская революция туда еще не дошла. И нас распатронули. Шайно упрятали в тюрьму. Его и нас, заводил из солдат, собрались судить военно-полевым. Но тут началась заваруха! Добрались большевики и до наших лагерей. Всех освободили. Пошли митинги. И вот часть пленных решила поддержать большевиков. Собралось нас тысячи полторы, если не больше, — мадьяры, венгерцы, галичане... Все больше кавал-

леристы. Вооружились, достали коней. Захватили город. Тюрьму открыли. Нашли Шайно, и сразу ему вопрос ребром: «Если ты действительно человек порядочный и простому народу сочувствуешь, то принимай команду и действуй!» Лейтенант только подмигнул. «Рад стараться, говорит, коня и пару маузеров». И пошли мы гвоздить господ русских офицеров!..»

Этот «отчаянный лейтенант Шайно», о котором рассказал в своем романе Николай Островский, и был Мате Залка. Гусарский офицер «императорской и королевской армии его апостольского величества императора Франца-Иосифа» стал красным командиром. Он прошел по всем фронтам гражданской войны — от Сибири и Урала до степей Украины. Он партизанил на Дальнем Востоке и дрался с белополяками, сражался с бандами Врангеля. В числе первых командиров, которым было поручено выбить из Крыма остатки засевших там врангелевских войск, он участвовал в знаменитом штурме Перекопа.

Человек отчаянной смелости, железной выдержки, непреклонной воли, он совершил много славных подвигов. Он увез от колчаковцев целый поезд с золотом, спрятал его в тайге и сохранил до прихода Красной Армии. Об одном только этом эпизоде его жизни можно было бы написать целую книгу...

7

Прошли, отшумели годы гражданской войны.

Мате Залка не мог вернуться на родину. В старой Венгрии он был объявлен государственным преступником, за его голову была обещана награда.

Он остался жить в Советской России.

Осуществилась мечта его юности. Он стал настоящим писателем. Он написал много хороших, правдивых книг. Давным-давно уже сменил он военную гимнастерку с синими кавалерийскими петлицами на обыкновенный костюм. Только боевой

орден на лацкане пиджака напоминал о том, что этот штатский человек с полным, благодушным лицом был когда-то лихим конником, смелым и волевым командиром.

Но, как только пахнуло порохом с газетных страниц, как только появились первые сообщения о фашистских бомбах, разорвавшихся над мирными городами, писатель Мате Залка бросил недописанные книги, оставил дом, семью, Москву, ставшую его второй родиной, и, не раздумывая, уехал сражаться за свободу далекой, чужой страны...

Бойцы республиканской Испании написали на его могиле:

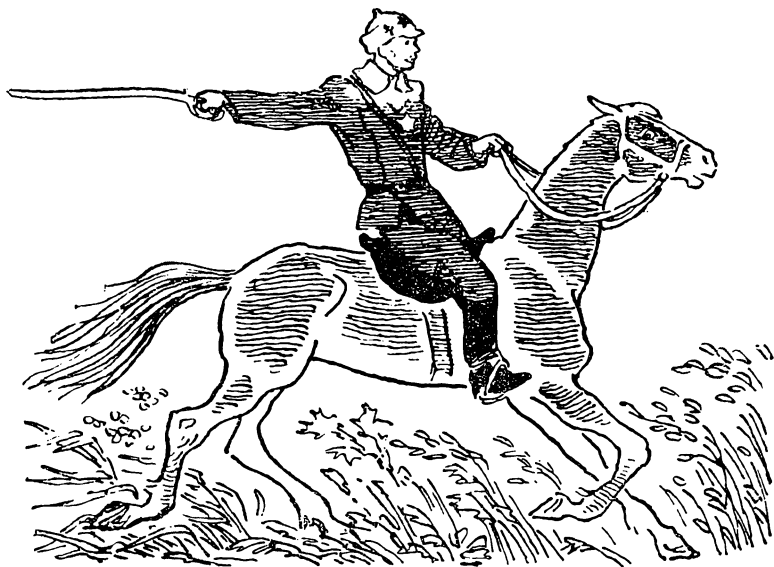
Я хату покинул,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать.

Светлов написал свою «Гренаду» в 1926 году. Написал он ее о человеке, погибшем в степях Украины в годы гражданской войны. Но сегодня кажется, что это стихотворение написано именно о нем, о легендарном генерале Лукаче, о тех бойцах интернациональных бригад, людях разных наций, которые приехали в Испанию сражаться за общее для рабочих и крестьян всего мира дело революции.

В «Гренаде» поэт говорил о том, что не надо плакать над могилами тех, кто погиб мужественно, как подобает солдату:

Новые песни
Придумала жизнь,
Не надо, ребята,
О песнях тужить...
Не надо, не надо,
Не надо, друзья!
Гренада, Гренада,
Гренада моя...

Жизнь придумала много новых песен. Но есть старые песни, которые трудно забыть...



ВСАДНИК С КРАСНОЙ ЗВЕЗДОЙ

1

«...Вдруг распахнулась дверь и прямо перед Димкой очутилось удивленное и рассерженное лицо Головня.

— Ты что, собака, здесь делаешь?

— Ничего! — испуганно ответил Димка. — Я спал... — И незаметно двинул ногой в сено приклад винтовки. В тот же момент грохнул глухой, но сильный выстрел. Димка чуть не сшиб Головня с лестницы, бросился сверху прямо на землю и пустился через огороды. Перескочив через плетень возле дороги, он оступился в канаву и, когда вскочил, почувствовал, как расвирепевший Головень вцепился ему в рубаху.

«Убьет! — подумал Димка. — Ни мамки, никого — конец теперь». И, получив сильный тычок в спину, от которого чер-

ная полоса поползла по глазам, он упал на землю, приготовившись получить еще и еще.

Но... что-то застучало по дороге. Почему-то ослабла рука Головня. И кто-то крикнул гневно и повелительно:

— Не смей!

Открыв глаза, Димка увидел сначала лошадиные ноги — целый забор лошадиных ног.

Кто-то сильными руками поднял его за плечи и поставил на землю. Только теперь рассмотрел он окружавших его кавалеристов и всадника в черном костюме, с красной звездой на груди...»

Прошло, наверное, уже больше двадцати лет с тех пор, как я первый раз в жизни читал «Р.В.С.» Гайдара, но и сейчас я отчетливо помню то чувство, с которым прочел эти строки впервые.

Помню долгое, томительное предчувствие расправы. Помню, что слово «убьет» возникло в моем сознании раньше, чем я увидел его напечатанным на книжной странице. Помню, как гулко билось мое сердце, словно это не Димку, а меня настиг рассвирепевший Головень. Но лучше всего я помню блаженное, острое чувство облегчения и огромного, ни с чем не сравнимого счастья, которое затопило меня, когда прозвучал гневный окрик: «Не смей!» — и появился он, всадник с красной звездой на груди.

С тех пор всякий раз, когда я видел красную звезду — на крыле самолета, на шлеме красноармейца или просто на алом полотнище нашего флага, — меня охватывало это чувство счастья и гордости за свою страну, на флаге которой знак всего смелого и справедливого, — красная пятиконечная звезда.

В то время, когда мне было столько же лет, сколько вам сейчас, еще свежа была память о грозной поре революции и гражданской войны. Мы любили повторять ее необычные, суровые слова: «ревком», «реввоенсовет», «ревтрибунал». Мы и в глаза не видали ревкомов и ревтрибуналов. Но слова эти

еще жили, они не ушли в прошлое, не стали историей, мы слышали их от отцов, и они были так же понятны нам, как само слово «революция», как ежедневно употреблявшиеся слова «Коминтерн» и «Совнарком».

Нам было понятно главное: мир делится на красных и белых. Красные — это наши, свои. Белые — враги: царь и буржуи. Не вполне укладывался в это деление Петр Первый. Он был царь — значит, белый. Но мы остро чувствовали всю незаслуженность такого оскорбления и утешали себя тем, что белым был царевич Алексей, а Петр, хоть и царь, конечно, свой, красный.

С пересохшим ртом, глотая слезы, мы смотрели на экран, где Чапаев в расстегнутой белой рубашке пел грустную песню «Ты не вейся, черный ворон, над моею головой». Мы знали, что уже недалек тот час, когда раненого Чапая захлестнут тяжелые волны Урала. Но мы знали, что красные все равно победят. Мы играли в красных и белых. Мы прикидывали, как сделать из отцовской шапки чапаевскую папаху, и долгими, завистливыми взглядами провожали мамин театральный бинокль: при случае он вполне мог бы сойти за полевой бинокль Щорса. А если у кого-нибудь дома был настоящий артиллерийский бинокль, настоящая отцовская сабля, слава о таком человеке выходила далеко за пределы двора. Такому счастливцу чаще других выпадала в наших играх почетная роль Чапаева. О нем говорили:

«Это Виталька из Леонтьевского, знаешь? Не знаешь?! У его отца три шпалы! У них дома за кроватью сабля стоит с меня ростом, еще с гражданской, серебряная...»

Мы назубок знали все знаки командирских различий: кубики, шпалы, ромбы. Мы хвастались друг перед другом:

«Я сегодня иду, а мне навстречу комполка, четыре шпалы...»

«Подумаешь, я вчера в трамвае с ромбом видел!»

Таким похвальбам верили неохотно. Не так это просто было встретить в трамвае живого комбрига. Это было почти

так же трудно, как увидеть человека с «взаправдашним» орденом Боевого Красного Знамени на груди.

Мы пели песни о том, что в степи под Херсоном высокие травы и что десять оставшихся гранат не пустяк, о мальчишке — любимце отряда, которого друзья называли Орленком, а враги — Орлом, о комсомольце, который, умирая, просил вороного коня передать товарищам, что он честно погиб за рабочих, о том, что наш бронепоезд стоит на запасном пути.

Это были хорошие песни. Мы любили в них даже то, что все они были чем-то похожи друг на друга.

Мы любили книги, которые были продолжением наших игр и наших песен.

Читая их, мы не запоминали писателей, которые их написали. Мы принимали написанное за действительно происшедшее, а книжных героев — за реально существовавших людей.

Нам важно было, про что рассказывает книга, и совсем неважно, кто рассказывает. Но был один рассказчик, голос которого мы узнавали сразу и безошибочно. Это был Гайдар.

Каждую повесть Гайдара, каждый его рассказ мы читали так, словно это было счастливо найденное продолжение любимой книги.

Бывает, читая книгу, так сроднишься с ее героями, что, когда дело подходит к концу — даже если это веселый, счастливый конец, — становится грустно, как при расставании с близкими людьми. Пройдет время, притупится, забудется эта грусть, и вдруг в какой-то другой книге ты внезапно узнаешь знакомых героев. Двойную радость испытываешь тогда: тут и радость встречи с хорошо знакомыми людьми, и предвкушение еще долгого общения с ними. Вот с таким чувством открывали мы каждую новую книгу Гайдара.

Почему? Ведь книги Гайдара как будто вовсе не продолжают одна другую. О разных, непохожих событиях рассказывают они, и в каждой из них живут другие герои.

Тогда я не понимал, в чем разгадка этой особенности гайдаровских книг, да и не очень задумывался над этим.

Гайдар действительно всю свою жизнь писал продолжение одной и той же книги.

Пусть одна его книга написана о гражданской войне, другая — о пионерском лагере в Крыму, третья — о том, как создавали колхоз в далеком селе. Все они говорят об одном.

«...Васька, который стоял на бугре и смотрел, как бурлит внизу схватываемая плотиной вода, вдруг как-то особенно остро почувствовал, что... и Алешино, и новый завод, и эти люди, которые стоят у гроба, а вместе с ними и он, и Петька — все это частицы одного огромного и сильного целого, того, что зовется Советской страной.

И эта мысль, простая и ясная, крепко легла в его возбужденную голову».

Это из повести «Дальние страны».

А вот из «Военной тайны»:

«Натка вышла на площадь и, не дожидаясь трамвая, потихоньку пошла пешком. Вокруг нее звенела и сверкала Москва. Совсем рядом с ней проносились через площадь глазастые автомобили, тяжелые грузовики, гремящие трамваи, пыльные автобусы, но они не задевали и как будто бы берегли Натку, потому что она шла и думала о самом важном.

А она думала о том, что вот и прошло детство и много дорог открыто.

Летчики летят высокими путями. Капитаны плывут синими морями. Плотники заколачивают крепкие гвозди, а у Сергея на ремне сбоку повис наган...

И она знала, что все на своих местах и она на своем месте тоже».

В каждой новой книге Гайдар как бы заново открывает для себя то, что он давным-давно уже узнал и понял, и он еще и еще раз просто и прямо говорит об этом читателю:

«Надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную и счастливую землю, которая зовется Советской страной».

Наверное, это всегда так бывает в детстве: читая книги, думаешь не о тех, кто их написал, а о тех, про кого они написаны. Но почему книги Гайдара были для нас исключением из этого правила?

Писатель показывает нам жизнь и заставляет размышлять о ней. В его книгах живут самые разные люди — добрые и злые, открытые и лицемерные. Он втягивает нас в борьбу, происходящую в книге, заставляя желать победы и счастья одним и опасаться торжества других.

Но бывает и так, что писатель как бы сам становится героем своих произведений. Таких писателей называют поэтами.

Поэт говорит прямо о себе и своих чувствах, о своей любви, о своей ненависти. Он выявляется в стихах весь, со своими взглядами и убеждениями, надеждами, желаниями и слабостями. Он входит в наше сознание не просто как знакомый, о мыслях и поступках которого можно размышлять и спорить, но как бесконечно близкий человек.

Представьте себе, что не сохранилось ни документов, ни воспоминаний современников о Гейне или о Маяковском. Если бы до нас дошли только стихи этих поэтов, мы все равно знали бы, что это были за люди. И пусть даже по стихам мы составили бы очень приблизительное или вовсе неверное представление об их жизни. Зная их стихи, мы никогда не ошиблись бы, отвечая на вопрос, а как поступил бы в этом случае Генрих Гейне, а как отнесся бы к этому Маяковский. Нам нетрудно представить себе каждый поступок этих людей, каждое их душевное движение.

Поэт — это не просто человек, который пишет стихи: это совсем особенный человек. Почти в каждой гайдаровской книжке есть герой, в характере которого видны дорогие Гайдару черты поэта. Таким был худенький, большеглазый Жиган, таким был маленький Гек, у которого не было своей коробочки, который «вообще был разиня, но зато он умел петь песни».

Поэтом был и сам Гайдар, хотя писал он прозу. Недаром

свои рассказы и повести он писал, как стихи, и каждую строчку знал на память.

Представьте себе, что не сохранилось ни биографии Гайдара, ни рукописей, ни документов, ни воспоминаний людей, знавших его.

И мы не знаем, что Гайдар — это совсем не Гайдар, а Голиков, что гайдаром по-монгольски называется всадник, высланный вперед. Не знаем мы, что в семнадцать лет Гайдар уже командовал отдельным 58-м полком по борьбе с бандитизмом, и никогда не слыхали про то, что на всех своих рукописях в правом верхнем углу обязательно рисовал он красную пятиконечную звезду.

Представьте себе, что мы всего этого не знаем, а знаем только книги Гайдара.

Всё-всё прочли бы мы о нем в этих книгах. И то, что с четырнадцати лет он «ударился навек в революцию» и на многих фронтах воевал «за светлое царство социализма», и то, что в 19-м году видел Ленина на Советской площади в Москве. И даже фамилию его настоящую мы знали бы почти правильно, потому что, назвав героя своей автобиографической повести Гориковым, Гайдар изменил в ней только одну букву.

Все равно он был бы для нас не только писателем, но и красным командиром, который «любил Красную Армию и думал остаться в ней на всю жизнь», г а й д а р о м — всадником, мчащимся впереди отряда. Ведь не случайно всадник с красной звездой, появившийся в его первой книжке, возникает потом снова и снова в других его книгах. Помните, в «Военной тайне» Натка входит в свою комнату и видит там спящего, еще незнакомого ей Альку:

«Возле кровати стояла белая табуретка. На ней лежали: синие трусики, голубая безрукавка, круглый камешек, картонная коробочка и цветная картинка, изображавшая одинокого всадника, мчавшегося под ослепительно яркой пятиконечной звездой».

И в этой же книге:

«— Владик, — с любопытством спросил Толька, — вот ты всегда что-нибудь выдумываешь. А хотел бы ты быть настоящим старинным рыцарем? С мечом, со щитом, с орлом, в панцире?»

— Нет, — ответил Владик. — Я хотел бы быть не старинным, со щитом и с орлом, а теперешним, со звездой и с маузером...»

В каждой книге Гайдара, помимо всех ее героев, всегда есть еще один, без которого книга не могла бы существовать. Этот герой — сам Гайдар.

Даже самых неповторимых героев гайдаровских книг не всегда узнаешь по случайно подслушанному обрывку разговора, по одной вырванной фразе. А этого героя узнаешь всегда, стоит ему произнести всего лишь несколько слов.

Ведь правда вы узнаете его голос? Прислушайтесь-ка.

«Нет, — твердо решил я, отбрасывая носком сапога валявшиеся черепки голубой чашки. — Это всё только серые злые мыши. И мы не разбивали. И Маруся ничего не разбивала тоже».

Ни в каких других книжках Гайдара не читали мы ни про Марусю, ни про маленькую рыжую девочку Светланку. Об этих людях и обо всем, что произошло в рассказе «Голубая чашка», мы узнаём в первые из этого рассказа. И все-таки весь рассказ этот, от начала до конца, воспринимается нами как что-то очень знакомое, как еще одна история из жизни давно и хорошо известного нам человека.

Мы знаем об этом человеке всё. Мы знаем, что он любит имя Сергей: в каждом его рассказе есть или Сергей, или товарищ Сергеев, а уж если и не Сергеев и не Сергей, то Серёгин. Мы знаем, что он любит имя Гейка и воинственный клич «Гей-гей!», и мы знаем, что одно из самых его любимых слов — это слово «крепко». Он повторяет его в самых разных и непривычных сочетаниях: «Совсем недавно она крепко обо мне плакала», «Он обернулся, сразу же встал и, крепко обрадованный, пошел ей навстречу...»

Менялась жизнь, менялись люди вокруг. Менялись герои гайдаровских книг. Но этот герой во всех его книгах оставался неизменно верным себе, своим привязанностям и вкусам.

Вот почему каждая книга Гайдара воспринимается как продолжение предыдущей. Вот почему, открывая книгу его, мы словно предвкушали радость встречи с уже знакомым героем.

3

Гайдар был поэтом, и, сравнивая его книги с книгами других писателей, хочется сравнивать их не с рассказами и повестями, а со стихами.

Есть у Некрасова стихотворение, которое, как и многие другие стихи этого поэта, давно уже стало чудесной песней: «Что ты жадно глядишь на дорогу...» В этой песне поется о крестьянской девушке, которая загляделась вслед быстрой тройке, умчавшейся вдаль. Не догнать тебе бешеной тройки, грустно звучит в ней, не гляди ей вослед, так уж суждено, что настоящая жизнь всегда будет проноситься мимо тебя, не останавливаясь ни на мгновение.

Когда читаешь «Дальние страны» Гайдара, поначалу невольно вспоминается это стихотворение Некрасова. Живут люди на крохотном разъезде, где никогда не останавливаются скорые поезда. Живут здесь и Васька с Петькой, и Сережка. Каждый день подолгу глядят они вслед составам, проносящимся мимо, туда, где идет настоящая, большая и интересная жизнь.

Но все стремительно меняется на нашей земле, и оказывается, что незачем мечтать о дальних странах. Настоящая жизнь сама приходит на крохотный разъезд № 216. Большая жизнь с первым большим, настоящим горем и трудным, суровым счастьем.

Подобно тому как Некрасов передал в своем стихотворении щемящее, тоскливое чувство человека, горько сознающего, что настоящая жизнь неизбежно и неумолимо проносится ми-

мо него, Гайдар в «Дальних странах» выразил чувство своего современника.

Одиннадцатилетний Васька первый раз в жизни ощутил себя частицей огромного целого, которое зовется Советской страной.

«— Петька, — сказал он, впервые охваченный странным и непонятым волнением, — правда, Петька, если бы и нас с тобой тоже убили, или как Егора, или на войне, то пускай?.. Нам не жалко!

— Не жалко! — как эхо, повторил Петька, угадывая Васькины мысли и настроение. — Только, знаешь, лучше мы будем жить долго-долго».

Петьке не стоило большого труда угадать Васькины мысли и настроение, потому что те же самые мысли и настроение владели им самим. Точно так же и Гайдар легко угадывал чувства, владевшие его читателями, потому что он чувствовал то же, что они.

Поэт говорит о себе, о своих чувствах, Но, если он настоящий поэт, его чувства совпадают с чувствами многих людей. Поэтому другие люди словами поэта выражают свою любовь и ненависть, свою боль и радость.

Для нас, первых читателей Гайдара, маленьких советских людей 30-х годов, его книги были как бы закреплением и подтверждением нашего ощущения жизни.

Часто бывает так: когда-то, в детстве, ты прочел какое-нибудь слово неправильно. И давным-давно уже тебе объяснили, как нужно его произносить, и ты это усвоил и запомнил, а все-таки свое произношение кажется и лучшим и, главное, каким-то родным: ты так свыкся с ним, что тебе трудно от него отказаться. Это потому, что первое впечатление — самое сильное. Крепко врезается оно в память, и не так просто вытеснить его другими, более поздними впечатлениями.

Должно быть, поэтому до сих пор, когда я читаю Гайдара, рядом с теперешним, взрослым отношением к его книгам во мне живут и не стираются мои самые первые, детские впечат-

ления, связанные с той или иной страницей, с той или иной строкой.

«...Натка услышала тяжелый удар и, завернув за угол, увидела покрытую облаками мутной пыли целую гору обломков только что разрушенной дряхлой часовенки.

Когда тяжелое известковое облако разошлось, позади глухого пустыря засверкал перед Наткой совсем еще новый, удивительно светлый дворец».

Когда я читаю эти строки, мне вспоминается улица Горького, горбатая, булыжная, тогда ее еще по старой памяти чаще называли Тверской.

Вспоминается, как она чудесно менялась на наших глазах. Как сносили старенькие двухэтажные домишки, раздвигая и выпрямляя ее. Как долго стояла она в лесах, а потом в яркий, солнечный день леса сняли, и мы увидели бьющую в глаза ослепительной белизной облицовку зданий — тех самых, что и сейчас стоят напротив телеграфа с нелепыми статуями на крышах. Тогда они действительно казались нам огромными, светлыми дворцами.

Или вот тоже в «Военной тайне» спрашивает шестилетний Алька:

«— Папа у меня русский, мама румынская, а я какой?»

И устами Натки Шегаловой Гайдар ему отвечает:

«— А ты? Ты советский...»

Меньше всего мы думали тогда о нациях. Но, если бы у нас спросили, какой мы нации, мы, не задумываясь, ответили бы:

«Советской».

Сегодня, когда читаешь Гайдара, он кажется светлым сказочником. Он и начинает свои рассказы так, как обычно начинают рассказывать сказку: «Жил человек в лесу возле синих гор...»

Но в ту пору мы не очень умели отделять сказку от действительности. Жизнь казалась нам самой прекрасной сказкой, а может быть, она и вправду была ею. У нас была такая песня:

«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...» И мы крепко верили ей, как верили всем нашим песням.

Каждый день мы просыпались с таким чувством, словно именно сегодня должно непременно случиться что-то очень хорошее. И действительно, каждый день что-нибудь случалось. Приезжали чудом спасенные челюскинцы, и мы влезали на фонарные столбы, чтобы увидеть, как они медленно проедут по улицам в открытых автомобилях. Передвигали с места на место дома, и мы бегали смотреть, заметно ли их передвижение на глаз. Мы знали назубок фамилии всех знаменитых летчиков, и, когда еле видимый глазу самолет оставлял за собой в синем небе медленно тающий белый след, мы задирали головы кверху, громко дивились, что он летит так высоко, и говорили тоном знатоков:

«Коккинали пролетел...»

А потом, набегавшись за день, мы открывали «Пионер» и читали там в новом рассказе Гайдара:

«Прогремел на север далекий поезд.

Прогудел и скрылся в тучах полуночный летчик.

А жизнь, товарищи... была совсем хорошая».

И не было других слов, которые могли бы лучше выразить владевшие нами чувства.

Не все было легко и радостно в книгах Гайдара. Редкая книга его, веселая поначалу, не оказывалась потом суровой, а в чем-то и печальной.

Погиб Чубук, расстрелянный белыми, и не вернуть Борису этого дня, не поправить свою страшную ошибку, не объяснить Чубуку, что он не предатель, во всю жизнь не забыть его предсмертного плевка. Никогда не вернется к маленьким, глупым Пашке и Машке их убитый отец Егор Михайлов. Не споет больше свою любимую песню о восставших заводах, о товарищах, которые томятся в тюрьмах и холодных застенках, всадник «Первого октябрятского отряда мировой революции», — такой малыш Алька. И тут тоже ничего нельзя ни вернуть, ни поправить.

Это были честные и мужественные книги. Не для того писались они, чтобы приукрасить жизнь, изобразить ее легкой и праздничной. И все-таки, когда мы выросли, жизнь оказалась не такой, как в книгах. Нас ждали в ней другие, не предсказанные книгами трудности и разочарования.

Эти книги не учили нас, как надо поступать в каждом отдельном случае. Да и разве есть на свете книги, которые могут этому научить? Но если мы поступали так, как нужно было поступать, если мы научились отличать сказку от действительности, правду от лжи, если мы умели выбирать для себя пусть не самый легкий, зато самый правильный путь, то это потому, что были в нашем детстве главные слова — «Революция», «Интернационал», — были те, а не другие песни, были знамена и пионерские костры, и еще потому, что были они, эти книги.

Очень скоро вчерашние мальчишки и девчонки, зачитывавшиеся «Школой» и «Военной тайной», в последний раз спели на выпускных вечерах песню о бронепоезде, который стоял на запасном пути. Дома их ждали повестки из военкоматов. Началась война. Поколению первых читателей Гайдара довелось принять на себя самый страшный ее удар. Это было беззаветное и самоотверженное поколение, и во многом Гайдару оно обязано тем, что было таким.

4

...Мне было четырнадцать лет. Я жил в эвакуации, в маленьком городке на севере Урала. Война шла где-то далеко, на западе. Каждый день я и один из моих сверстников (он был тоже москвич) вслух мечтали о том, как хорошо было бы убежать из дому, добраться до линии фронта или хотя бы до Москвы. Мы знали, что Москву бомбят каждый день. Иногда мы получали письма, в которых товарищи наши, оставшиеся в Москве, такие же мальчишки, как мы, рассказывали о том, как они ночами дежурят на крышах и гасят зажигалки. Мы

мечтали о побеге и однажды убежали. Мы прошли пешком километров сорок, добрались до железной дороги, разыскивали поезд, шедший на запад, спрятались в тамбуре одного из вагонов и, измученные, счастливые, уснули.

Когда мы проснулись, было темно. Поезд замедлял ход. Мы проснулись от стука открывшейся двери — в тамбур вышел человек. Он распахнул шинель, вынул портсигар, и при слабом свете зажигалки я увидел, как на его плечах блеснули... Да, это были погоны!

Помню, как похолодели руки и сердце опустилось куда-то вниз и снова подпрыгнуло. Мой товарищ потом говорил мне, что он почувствовал то же самое.

Не сговариваясь, мы распахнули дверь вагона и спрыгнули под откос.

Мы знали все знаки командирских различий. Мы привыкли к кубикам, шпалам и ромбам в петлицах. Мы давно не читали газет и не слушали радио. Мы не знали, что уже много дней погоны были неотъемлемой частью нашей армейской формы.

А несколько месяцев спустя на улице маленького уральского городка я загляделся на мальчишек, игравших в войну. Сейчас я понимаю, что они были совсем не намного, может быть года на четыре, на пять, младше меня. Но тогда эта разница в возрасте казалась мне огромной. Нацелив на плечи лоскутья, изображающие погоны, они маршировали по улице, рассыпались цепью, стреляли из самодельных автоматов. До меня долетали их возбужденные голоса:

— Володька! Ну куда ты лезешь? Ты сегодня немец, ведь говорили же...

Они играли в «русских» и «немцев», как мы когда-то в «красных» и «белых».

В ту минуту, когда это дошло до меня, я словно впервые ощутил пропасть, которая пролегла между моим и их детством...

СОДЕРЖАНИЕ

Как я учился музыке	3
Трудная весна	25
Самое обыкновенное чудо	64
Что такое — быть поэтом	79
Рифмуется с правдой...	89
Биография одного стихотворения	99
Всадник с красной звездой	114

Д л я с р е д н е г о ш к о л ь н о г о в о з р а с т а

Сарнов Бенедикт Михайлович

ТРУДНАЯ ВЕСНА

Рассказы

Ответственный редактор С. Е. Миримский. Художественный редактор А. В. Паница. Технический редактор С. Г. Маркович. Корректоры З. С. Ульянова и Т. Ф. Юдичева. Сдано в набор 7/X 1964 г. Подписано к печати 14/XII 1964 г. Формат 60 × 84^{1/16} — 8 печ. л. = 7,304 усл. печ. л. (5,75 уч.-изд. л.). Тираж 100 000 экз. ТП 1965 № 244. Цена 30 коп. Издательство «Детская литература». Москва, М. Черкасский пер., 1.

Фабрика «Детская книга» № 1 Росглавополиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по печати. Москва, Сушевский вал, 49. Заказ № 1227.

Цена 30 коп.